



Н. Я. СТЕЧКИН

**Максим Горький, его творчество
и его значение в истории русской словесности
и в жизни русского общества**

ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Введение. — «Босяк» в определении Горького. —
«Босяк» в жизни до проповеди Горького и после нее.*

Свойства и размер таланта Максима Горького, значение его произведений, влияние их на читателей — все это вопросы, подлежащие и обсуждению, и спору. Вне всякого спора и всякого сомнения стоит распространенность сочинений М. Горького среди читающей публики.

Распространенность эта чрезвычайна, и едва ли сравнима с распространенностью каких бы то ни было других книг на русском языке. К сентябрю 1903 года сочинения М. Горького были выпущены в количестве экземпляров: том 1-й рассказов — 5500, том 2-й — 5700, том 3-й — 5900, том 4-й — 60 000, том 5-й — 52 000, пьеса «Мещане» — 58 000 и пьеса «На дне» — 75 000. Итого, сочинения Горького разошлись за какие-нибудь пять лет, а то и менее, — 416 000 томов.

Никогда И. С. Тургенев, если сложить все издания его сочинений и прибавить огромный выпуск их в виде премии к «Ниве», не имел такого распространения.

Принимая во внимание, что часть этих экземпляров сочинений Горького поступила в библиотеки и читальни и что у каждого покупателя книги найдется десяток знакомых, которые возьмут книгу почитать, можно смело утверждать, что произведения М. Горького читала вся грамотная Россия.

Почти с первых шагов своей карьеры М. Горький стал так популярен, что пример этой быстрой популярности во всей ис-

тории русской словесности стоит особняком. Ни Тургенев в эпоху «Дворянского гнезда», ни граф Л. Н. Толстой в эпоху «Войны и мира», ни Достоевский никогда не имели такой популярности, особенно в первые-то годы литературной деятельности. Быстрый успех Д. В. Григоровича после «Антоня Горемыки» ничтожен сравнительно с шумом, образовавшимся вокруг имени Горького. Сам Пушкин в расцвете славы, Пушкин — властитель душ, не достиг популярности Горького.

Очевидно, причина такого успеха коренится не в собственных достоинствах произведений Горького, не в художественных их свойствах. Как бы они ни казались превосходны поклонникам Горького, но и эти горячие жрецы недавно водруженного кумира сознаются, что, пожалуй, и у Толстого встречаются страницы, равные по достоинствам сочинениям «гениального» Максима. Однако с Толстым-художником никогда так не носились. Преклонение перед Горьким и восхищение им дошло до пределов, близких к умопомешательству. В поклонении этом много общего с болезненными, самовнушенными восторгами, которые собирают у подножия сценических подмостков или концертной эстрады психопаток и психопатов, ревущих и выбивающих ладонями хвалу как высокому таланту Шаляпина, так равно и низменному кривляню г-жи Вяльцевой. Шум ради шума, искусственное возбуждение самих себя до последних градусов юродства.

Пишущий эти строки лет десять назад видел в Одессе прощанье тамошней публики с французским трагиком Мунэ-Сюлли. Он закончил свои гастроли ролью Креона в софокловой «Антигоне». Это тонкое создание драматического гения Мунэ-Сюлли не принадлежит к числу тех выигрышных ролей, каковыми были другие пять его гастролей, и не может легко восприниматься средней публикой. Но артист появился в последний раз перед одесскими зрителями, и они не хотели упустить случая наораться вволю. По окончании пьесы на артиста посыпался дождь цветов, затем его стали бесконечно вызывать, затем, когда цветов уже не стало и вся благоразумная публика начала расходиться, зрители галереи и задних рядов, учащаяся молодежь, приказчики-жидочки и греки, какие-то девицы столпились у рампы оркестра и начали вопить, бросая на сцену шапки, галоши, даже верхнее платье. Большую люстру в зрительном зале погасили и полутемный зал изображал странное зрелище. На сцене с полуубранными декорациями, с обнаженными кулисами, стоял жестокий Креон в своем полугреческом, полувосточном царском облачении, а темная масса людей швыряла в

него чем попало, точно не почитать его, а истребить собиралась. Мунэ-Сюлли пробовал возвращать бросаемые в него предметы в залу. Рукоплещущие бросали их обратно и образовалась какая-то дикая игра в мяч галошами, шапками, накидками и пальто. «Странная, хотя интересная публика, — говорил Мунэ-Сюлли, сидя в своей уборной и снимая грим и ризы Креона, — чувствуешь себя, как с людоедами, и не знаешь, что они сделают: вознесут ли тебя на высоту и станут молиться, как боже-ству, или зажарят тебя на ужин».

В характере поклонения М. Горькому много общего с описанным случаем. Та же стадность, то же беснование, та же неразумность. Недаром сам Горький в Москве, в фойе театра гг. Станиславского и Немировича-Данченко обругал своих назойливых поклонников, дав им понять, что он «не Венера Милосская, не утопленник и не балерина» и что нечего на него таращить глаза¹.

Мода на М. Горького все росла и росла, заражая все новых и новых поклонников. Даже почтенная старушка — Академия наук заразилась общим недугом и избрала М. Горького почетным академиком отдела изящной словесности. Совершенно внешние, случайные обстоятельства дали возможность, по чисто формальным причинам, кассировать это непостижимое избрание².

Мода на М. Горького огромная, хотя теперь она идет, как уверяют, несколько к уклону. Но чтобы писатель стал модным, нужны какие-то особые причины. Таланта только, даже и большого, здесь недостаточно. В большинстве случаев мода на писателя образуется от того, что его произведения как раз соответствуют настроению читателя в данное время.

Какое же было настроение нашей читающей публики, которому попал в тон Горький? Почему настроение это встретило себе ответ именно в произведениях Горького?

Вот те вопросы, которые надо попытаться выяснить ранее, чем приступить к последовательному разбору произведений Максима Горького.

II

Читающей публике всех времен необходим «герой», центральный тип, не похожий на среднего человека. Такой тип, если автор удачно обрисовал его, начинает властвовать над думами читателя. Таковую роль сыграли, например, в свое время

Вертер Гете, его же Фауст, Чайльд-Гарольд Байрона, Рене Шатобриана, Оберман Сенанкура³, Алеко и Онегин Пушкина, Демон и Печорин Лермонтова. Перечисленные типы при всем разнообразии своих оттенков, силы таланта авторов, степени яркости обрисовки характерных черт типа имеют в себе то общее свойство, что они по запросам своего духа стоят выше среднего уровня, но те же запросы, хотя бы и в зачаточном состоянии, в туманном, неопределенном виде коренятся и в каждом мыслящем существе.

Понятно поэтому, что средний человек, который по своей многочисленности составляет главную массу читающей публики, с особенным интересом вслушивается в то, к чему он не мог подобрать слов, но что, в скрытом состоянии, таилось в его душе и беспокоило его ум. Впечатление от названных типов бывало настолько сильно, что они порождали в действительной жизни подражания и вызывали некоторое позерство со стороны особенно восприимчивых читателей.

Перечисленные выше типы проникнуты в той или иной мере недовольством окружающей жизнью, которая их не удовлетворяет. Отсюда происходит то, что они становятся «лишними людьми» в кругу средних людей. Но они-то именно, эти-то «лишние люди», и делались всегда излюбленными «героями» обыденных людей, и грибоедовский Чацкий происходит по прямой линии от мольеровского Альсеста («Мизантроп»); в гетевском Фаусте не умирал эсхилевский Прометей, и страдания шекспировского Гамлета родственны страданиям Ореста того же Эсхила.

Типы, способные занять место «героев» в глазах читателя, мельчают, когда мельчает общество, когда аристократия ума разменивается среди масс, демократизируется, так сказать. В начале таких периодов развития человеческой мысли создатели типов начинают относиться к ним критически, объективнее. Пушкин в Онегине и Лермонтов в Печорине не скрыли недостатков и слабостей своих героев от читателя, но тем не менее чувствуется, что поэты относятся любовно к своим созданиям, любят их, не взирая на их отрицательные стороны. Уже в начале второй половины XIX века положение меняется. Тургенев беспощаден к своему Рудину. Героичность Рудина даже в момент его смерти на баррикаде не лишена доли комизма.

Чем далее, тем тип более мельчает. Общечеловеческая психология менее уже интересуется, требуется приурочение типа к общественным течениям. Тургенев дает Базарова. В Базарове уже интересны не движения его души, а его роль нигилиста в

обществе сверстников и перед лицом отживающих отцов. Когда появился Рудин, его поняли, быть может, разным образом; быть может, некоторые видели в нем и подлинно обаятельного героя, когда другие усматривали низкий уровень его воли и отрицательные стороны его характера. Когда же появился Базаров, то отцы, как и дети, отшатнулись от него. Первые видели в нем апофеоз революционного проявления, вторые — карикатуру на молодежь. Потом лишь последние сделали из первоначального нигилиста свой кумир.

Базаров был последним из русских центральных художественных типов, собственное имя которого может считаться нарицательным. Не упоминая о типах Достоевского, ибо они, как и все великое творчество этого крупного писателя, стоят особняком от общего течения словесности. После Базарова, в продолжение почти сорока лет, наша словесность, при большом количестве новых авторов и их произведений, не дает собирательных, центральных типов. Изящная литература раскрывает и исследует многие стороны жизни, бывшие дотоле нетронутыми, и ведет за собою читателя в незнакомую для него среду. Преимущественно начинают занимать внимание внешние проявления жизни. Реализм описаний вытесняет изучение движений человеческого сердца. За это время проходит ряд писателей разных направлений и разной силы дарования, которые в течение известного периода читаются усердно, а ныне едва ли не сданы в архив. Помяловский, Решетников, Глеб Успенский читаются теперь лишь любителями литературы и не входят в число ходовых книг. Высокоталантливый покойный Всеволод Гаршин, Короленко с его рассказами тоже поставлены на полку. Слабый драматург А. П. Чехов заслонил собою самого себя как даровитого рассказчика.

Рассказы трех упомянутых писателей, едва ли уступающие в литературном достоинстве рассказам Горького, никогда не имели, — скажем мимоходом, — успеха повествований босяцкого Гомера.

Итак, читатель, отвернувшись от порыва вверх, стал смотреть, за последние сорок лет, на землю и рыться во всем том, что копошится на этой земле. Случалось ему опускаться и несколькими ступенями ниже земли, в подвалы и вертепы. Туда собирался вести его безвременно умерший Н. Г. Помяловский, в своем ненаписанном романе «Брат и сестра». Туда повел его Всеволод Крестовский в своих «Петербургских трущобах». Смотреть вниз стало обычно читателю, но он не мог сосредоточиться, ибо ему не давали типа, не удерживали его на одном

каком-либо явлении. Картины менялись перед ним с подвижностью камней в калейдоскопе, не собирая, а рассеивая лучи его внимания.

В эту пору явился Горький и сделал то, чего до него никто не делал. Он дал тип, носящий не имя собственное, Коновалова или Орлова, а нарицательное имя «босняка».

III

К восприятию «босняка», как типа, общество было достаточно подготовлено. И в нашей литературе «бывшим человеком» занимались не раз, а Вс. Крестовский опускался на «дно» и вынес оттуда даже арго наших вяземских босяков. Занимались им и в иностранных литературах — Виктор Гюго в «*Misérables*» *, Евгений Сю в «*Mystères de Paris*» ** и т. д. Эмиль Золя не раз касался этого типа. Тот же Золя, столь распространенный в России и в подлиннике, и в многочисленных переводах, приучил нашего читателя всех слоев общества к нагоде и цинизму описаний, к площадной ругани, — настолько приучил, что для какой-нибудь дамы высшего тона, искавшей тщетно в словарях толкования тех слов, которые ни в один словарь не помещаются, чтобы понять любезности, отпускаемые героями Золя, и узнавшей от услужливого кузена, что это те самые слова, которыми бранятся ломовые извозчики, — для такой дамы крепкие словечки Горького, вроде «рвани коричневой», казались уже вполне приличными и допустимыми в обществе, и разве немного своеобразными.

Читатели привыкли смотреть вниз. Они уже забыли, что сверху льются лучи, и искали огоньков внизу. Таким огоньком, все более и более разгорающимся, оказался «босяк» Горького. Он вышел на свет очень характерно очерченным, в лохмотьях, с хулою на устах. Смысл и значение его не выяснили себе сразу. Видели только, что это — нечто новое. Новым-то, собственно, было лишь то освещение, которое придал автор своему герою, а не самый герой, водившийся в подонках общества столь же давно, как и его брат, навозный червь, в навозе.

Если бы Горький вывел своего босняка, испрашивая к нему сострадания, если бы он «милость к падшим призывал», он, при всей яркости своей кисти, при всем изучении описываемой

* «Отверженные» (фр.). — *Ред.*

** «Парижские тайны» (фр.). — *Ред.*

среды, не имел бы того успеха, каким он пользуется ныне. Если бы Горький говорил о праве «босняка» на место среди людей, под условием его нравственного возрождения, его не стали бы слушать. Тогда поняли бы, что этот новый босьяк есть тот самый, от века существующий нищий, которому каждый из нас подавал копейки, тот самый, кого за бродяжничество мы судим и водворяем на место жительства. Этот «тот самый» босьяк не интересен. Он так неопрятен, так дурно пахнут его лохмотья, так он некрасив, с бойными знаками на своем лице. Мы, конечно, по человечеству жалеем его и заботимся несколько о нем. Но что же в нем заманчивого?

Горький поступил иначе. Он снабдил «босняка» гордостью. Он ничего для него не просит, «босьяк» сам требует места, и не последнего. Чтобы не быть голословными, мы подтвердим это далее словами самого Горького. Его босьяк не угнетен. Ему не надо сострадания. Он бросает вызов самому небу, не говоря уже о вызове обществу, государству, власти, жизненному укладу. «Босьяк» — не пролетарий, стремящийся стать собственником. «Босьяк», презрительно, ни к чему не стремится. У него уже есть самое ценное: сознание своей очевидной независимости от всех требований и оков общественности, нравственности, религии.

Сийес в начале французской революции 1789 года, отстаивая права третьего сословия, спрашивал: «Что такое третье сословие?» — и отвечал: «Ничто» — «Чем оно должно быть?» — «Всем...»

То же, но короче и определеннее делает Максим Горький для босьяка. Короче потому, что для доказательства прав третьего сословия во Франции XVIII века надо было вспомнить историю, всю эту культурную работу третьего сословия, давшего на поприще науки и искусства Франции столько же, сколько наше дворянство дало России, давшего в то время, когда феодалы жили грубою силою меча, а духовенство лукавством Рима.

Никаких заслуг «босьяк», столь высоко поднятый, за собою не имеет. Он не имеет ни истории, ни прошлого, ни заветов, ни преданий. Нельзя же считать за историю то обстоятельство, что во всяком обществе всегда есть грязный осадок. Нельзя же называть прошлым вчерашнюю ночь, столь же смрадную, как нынешняя и завтрашняя. Нельзя же давать имя заветов и преданий тунеядству, лени, пьянству, презрению к чужой собственности, к семье, к вере в Бога. Все эти «заветы и предания» близки и родны тому, кто, совлекши с себя образ челове-

ческий, Божие подобие, изберет грязь своею средою, всяческую распущенность поставит себе нравственным кодексом, а удовлетворение на чужой счет ближайших физических потребностей — своим занятием. Так всегда было и так всегда будет, пока не настанет рай на земле.

Общество, не потерявшее к себе уважения, должно бороться с явлениями столь дикого и распущенного характера, а не восторгаться ими, как прелестной и заманчивой новинкой. Иначе выйдет то, что вышло у нас. Смелый шаг Горького, беззащитный апофеоз босячества, который он создал, был принят за новый свет в общественном сознании. Свет-то он — свет, но и свет бывает разным. Бывает свет солнца, бывает свет лампы, возжигаемой пред престолом Господним, и бывает свет пожара. Источник их один и тот же, но действие их различно. Не свет нового откровения несет «босяк» Горького. Не светоч, озарявший благотворно неведомые еще уголки жизни, вложил Горький в грязную руку «босяка». Этот светоч зовется иначе. Это — факел революции. Это — факел анархии, провозвестник попрания всего, чем жили, во что верили, чему служили, для чего работали ряды поколений.

IV

Обыкновенно бывает так, что писатель открывает, систематизирует, выявляет общественное явление, которое было всем известно, но в общих, туманных, неопределенных чертах.

С Максимом Горьким вышло иначе. Явление, всем давно знакомое, печальное, ужасное, он так осветил искусственно, озарил его таким ярким бенгальским огнем, что оно получило совсем особое значение. Когда же описания Макама Горького вернулись к своим оригиналам, то те возгордились, и начали действовать и жить по Горькому. На улицах стали попрошайничать, ссылаясь на Горького, и не один кошелек любезно открывался для удовлетворения пьяной жажды героев «босячества». «Босяки» обнаглели, они стали бить в лицо мирных обывателей, стариков, женщин. Они подняли руку на офицеров при исполнении ими служебных обязанностей. Произошло какое-то вавилонское смешение языков. С людьми общества вышло то, что, говорят, произошло с одной русской дамой, которая в Париже, в революцию 1848 года, поехала смотреть баррикады, и не встречая ни одной, спросила у кучки мрачных людей: «Что такое баррикада?» Ее вывели из собственной ка-

реты, вероятно, дали ей несколько пинков и перевернули ее карету колесами вверх, сказав при этом: «Вот это и есть баррикада». Так и нашим поклонникам «босняка» приходится на себе испытывать привлекательную сладость этого типа. В жизни он им не кажется таким милым, как в рассказе или на сцене, в исполнении труппы г. Станиславского.

Масса читателей, однако, не сознает, что мы натворили: Горький своим авторством, а мы своим ему поклонением и его неумеренным возвеличением. Некоторые из сторонников Горького стараются уверить, что «босячества», как врага общественного, не существует, что точно, есть несчастный парий общества, «босьяк», существо бедное, достойное помощи и сочувствия, но никому вреда не делающее. Нечто вроде шалуна-мальчика, которого лучше всего покорить можно ласкою и приветом. При этом добавляют, что наш «босьяк» не более, как французский санкюлот⁴ конца XVIII века.

Это последнее определение особенно ценно, и мы готовы с ним согласиться, но оно не умаляет, а лишь усиливает роль, отводимую босьяку. Можно все свои исторические познания ограничить учебником истории Иловайского, чтобы понимать роль санкюлотов в 1792, 1793 и 1794 годах. Спасибо за таких членов общества, и если точно в босьяке живет санкюлот, то остается лишь поздравить себя с ценной находкой вреднейшего взрывчатого вещества.

Пугаться «босняка» нечего, возводить его — на степень действующего революционера — преждевременно. Он и так уже зазнался, может зазнаться еще более, но отдавать себе отчет в жизненных явлениях, не закрывая на них глаз, — обязательно и вполне необходимо.

Важно то, что «босьяк» до Горького в жизни и в сознании общества был один, а после Горького стал совсем другой.

До Горького «босьяк» считался общественной язвой, отравляющей общественный организм и потому подлежащий изучению и излечению. Всякая медленность в этой оздоровительной работе может быть поставлена обществу на счет как преступное нерадение, приравнена в духовном смысле к несоблюдению санитарных мер в материальном отношении. До Горького принималось за истину, что общество живет в главных принципах правильной жизнью и что отклонения общества от правильного пути и его законов способны порождать дикообразные явления, каково босячество.

Теперь, после «откровения» Горького, выходит, что общество со всеми устоями есть ложь, и в поступательном пути сво-

ем, и в своих основоположных заветах. Оно все сгнило и испортилось до корня и в нем только и осталось здорового, что «босьяк». «Босьяк» — альфа и омега эволюции человеческого духа. Не только большие центры человеческой жизни — города, но и деревни кажутся Горькому чем-то таким, где тошно и грустно, — хорошо лишь среди босьяков.

Нужно родиться в культурном обществе, для того, чтобы найти в себе терпение на всю жизнь жить среди него и ни разу не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаям маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектанства, всяческой неискренности, — одним словом, из всей этой охлаждающей чувство и развращающей ум суеты сует. Я родился и воспитывался вне этого общества и по сей приятной для меня причине не могу принимать его культуру большими дозами без того, чтобы, спустя некоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти из ее рамок и освежиться несколько от чрезмерной сложности и болезненной уточненности этого быта.

В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно, как и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы городов, где, хотя все и грязно, но все так просто и искренно.

Вот, что говорит сам Горький (Рассказы. Т. II. «Коновалов», с. 40 и 50). Натяжка этого положения очевидна: в «трущобах городов» неизбежны свои условности в общежитии их обитателей, и можно, лишь с намерением уронить все стоящее вне трущоб, выше их, уверять, что в них нет «суеты сует, охлаждающей чувство и развращающей ум». Вероятно, она есть. Долгий курс босьячества, пройденный М. Горьким, служит лучшим тому доказательством. Только глубоко развратив свой ум, можно договориться в молодых годах до того крайнего предела чело­веконенавистничества, до которого договаривается Горький.

Порицать, во что бы то ни стало, все окружающее, это — занятие наиболее легкое. Гораздо труднее найти средство к уврачеванию порицаемого. Мы, принадлежащие к обществу, полному «всяческой неискренности», знаем, чем лечить язву — «босьячество». Худо или хорошо, но нам понятно, что можно и должно бороться с алкоголизмом, бродяжничеством, тунеядством. Мы знаем для того меры, как предупредительные, так и карающие, как полицейские, так и воспитательные. Мы, «полные ядовитых лжей», хотели бы всякого павшего члена общества вынуть из грязной ямы, куда он погрузился, физически и нравственно, очистить его, поднять до себя, дать ему долю в общих благах, в общей жизни. Теория, иногда нередко, расходится у нас с практикой, мы не делаем для падших всего того,

что могли бы и должны бы были делать. За это и полагается нам упрек. Но Горький на такие упреки, хотя бы и в художественных образах, не тратится. Он просто махнул рукой на общество, ничего от него не ожидая и видя просвет лишь в босяках. Реально относясь к своим задачам, Горький живописует жизнь такую, какую она ему кажется, хотя кажется она ему подчас совсем иною, чем она есть на самом деле. Как большинство разрушителей, Горький вовсе не имеет идеала, по которому он желал бы построить новое здание на месте разрушенного. Его дело только разрушать, и делает он это с усердием, достойным лучшего применения.

V

«Босяк» рисуется Горьким так. В одном из своих выдающихся рассказов — «Коновалов» — Горький выводит разновидность «босяка», его не вполне удовлетворяющую. Он (рассказ ведется от лица Максима Горького) описывает свои отношения к Коновалову.

Я с жаром расписывал ему жизнь и доказывал, что он не виноват в том, что он таков. Он — печальная жертва условий, существо, по природе своей, со всеми равноправное и длинным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень социального нуля. Я заключил речь тем, что сказал еще раз:

— Тебе не в чем винить себя... Тебя обидели...

Он молчал, не сводя с меня глаз; я видел, как в них зарождается хорошая, светлая улыбка, и с нетерпением ждал, чем он откликнется на мои слова.

— Ну, я особливая статья, — сказал Коновалов. — Кто виноват, что я пью? Павелка, брат мой, не пьет — в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю не хуже его — однако, бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери дети. Он еще моложе меня. Выходит, что во мне самом что-то неладно... Не так я, значит, родился, как человеку это следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые: родился, пожил сколько назначено, и помри! А я на особой стезе... И не один я, — много нас этаких. Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы, — чтобы нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы пред собой и жизнью виноваты... Потому у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем... Каждый человек сам себе хозяин, и никто в этом не повинен, ежели я подлец есть!

Коновалов, видимо, взятый с натуры, абсолютно прав, Горький в жизни слышал эту правду. Она своею очевидностью дол-

жна была бы изменить его воззрения на вещи, но он упорствует на своем, не уступает ни пяди из своей теории.

В устах культурного человека такие речи не удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом «интеллигент». Но в устах босяка, хотя он и интеллигент среди обиженных судьбой, голых, голодных и злых полулюдей, полужверей, наполняющих грязные трущобы городов, — из уст босяка странно было слышать эти речи. Приходилось заключить, что Коновалов — действительно особая статья, но я не хотел этого.

С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся типичнейшим золоторотцем; но чем больше я присматривался к нему, тем больше убеждался, что имею дело с разновидностью, нарушавшей мое представление о людях, которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые...

Тут без прикрас Горький устанавливает свое учение. Это — первый его тезис: «босяки» — люди, которых давно пора считать за класс общества. Это назойливое требование естественно неосуществимо. На самом деле: классы общества слагаются в силу раздробления занятий и труда. В первобытном обществе воин, купец, земледелец заключаются в одном лице: человек — воин, ибо ему необходимо защищаться, он — земледелец, ибо нужно с семьей кормиться, он — купец, ибо необходимо выменять предметы, которые у него есть в избытке, на те, которые есть только у соседа, не имеющего, наоборот, того, чем ему платят за его товар. При росте общества занятия специализируются, получают люди: только воины, только купцы, только земледельцы. Специализация занятий кладет особый оттенок на носителей каждого занятия. Эти специализировавшиеся части общества называются классами. Но как же можно считать за класс общества людей, которые тем именно отличаются от всех прочих, что не несут никаких обязанностей и стараются не иметь никаких занятий, которые самодовольно валяются на своем гноище и ставят себе в заслугу поход против всего живущего в обществе? Это не класс общества, а его вредные паразиты. В каждом почти доме, к сожалению, водятся отвратительные насекомые: блохи, клопы, тараканы. Человек страдает от них и принимает все меры к тому, чтобы от них освободиться, чтобы их вовсе не было. Но никому еще не входило в голову требовать для них права гражданства наравне с домашними животными, полезными человеку.

Право гражданства, право на положение отдельного класса в обществе приобретается не по прихоти, а вследствие участия

своими трудами в строении общества. Общественный строй, при котором одни будут работать, а другие тунеядствовать и босячить, противен здравому смыслу, во-первых, и доброй нравственности, во-вторых. Желать такого положения, значит, быть не радетелем о «малых сих», а злонамеренным подкапывателем общественных основ, трущобным Мефистофелем, демоном горькой насмешки.

Почему я не могу быть покоен? А? Почему? — задается вопросом Коновалов, — люди живут и ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен, детей и все прочее... Жалуются на жизнь они, но бывают и покойны. И всегда у них есть охота делать то, другое. А я — не могу. Тошно. Почему мне тошно?

Понятно — почему. В большинстве случаев с перепою, а в общем от совершеннейшей душевной и умственной неуравновешенности. Максим Горький иначе на это смотрит. Он говорит:

До этой поры я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердце в первое время нашего знакомства, слетели с него, как шелуха от вольного воздуха, которым он дышал в эти годы; но тон его последней фразы восстановил предо мной приятеля все тем же ищущим своей точки человеком, каким я его знал. Все та же ржавчина недоумения пред жизнью и яд дум о ней разбедали эту могучую фигуру, рожденную, к ее несчастью, с чутким сердцем. Таких «задумавшихся» людей много в русской жизни, и все они более несчастны, чем кто-либо, потому что тяжесть их дум увеличена слепотой их ума.

«Ржавчина недоумения пред жизнью и яд дум»... Как это придуманно! Как это неестественно! Но не в неуклюжей, искусственной метафоре дело, а в ее смысле. Коновалов сам себя обрисовал. Этот заболтавшийся забулдыга, который первый находит, что против него необходимо принять строгие меры и особые законы, в глазах Горького «недоумевает» перед жизнью. Брось он пить и займись работой, — и всем бы недоумениям наступил конец.

Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга... —

говорит Коновалов и идеалом противопоставляет свое босяцкое бродяжество. В этом с ним Максим Горький соглашается, но в оценке самого Коновалова он поднимает его на пьедестал. Так, например, он читает Коновалову книгу Костомарова «Бунт Стеньки Разина» и, когда его слушатель начинает принимать горячее участие в судьбе Стеньки, то Максим Горький с умилением восклицает:

Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка — родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные и не остывшие за три столетия (?), до сей поры связывают этого босяка со Стенькой и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без «точки» духа, чувствует боль и гнев пойманного триста (?) лет тому назад вольного сокола.

Сопоставление смелое и с историей волжской вольницы несогласное⁵, но характерное, так как, быть может, помимо воли автора, поднимает завесу над тайным, сокровенным значением босяка. Здесь не место определять значение Стеньки Разина и его роль как типичного представителя одного из народных течений, но этого не тщится сделать и Горький в своем рассказе. Для Горького важно, что Разин противился установленной власти и иногда держал ее в трепете. И босяк являет собою противление власти. С этой-то стороны он и ценен его певцу. Нужды нет, что волжская вольница была, при всем неистовстве ее походов, здоровым, хотя и не перебродившим элементом народной жизни, а босяк является ее болезненным выпотом, ее гноем. Результаты от обоих могут быть одинаковы. Эти желанные результаты называются смуту и, конечно, голь кабацкая — самый благодарный для смуты элемент.

Когда эта голь, этот «босяк» воспеты, то они и сами могут о себе возомнить, что они — класс общества, соль земли, и умеренные похвалы, им расточаемые, заставляют их поднимать гордо голову и объединяться с товарищами по пороку и праздности. А тут еще и Панургово стадо доверчивых читателей, падких, по неведению, как кот на запах сала, на все пахнущее протестом. Доведись до дела, — те же читатели окажутся самыми благонамеренными людьми; придись гасить пожар, — они ведра с водой на себе потащут, а пока только фитиль тлеет, они с детским легкомыслием любят на бегущий по нем огонек, не чая себе от него горя.

Таков босяк в его отличительных чертах, но Коновалов — «босяк» не действующий и не собирающийся действовать. Посмотрим же на тех, которые приготавливаются к действию. Чего им хочется и как они относятся к обществу?

VI

Для ответа на поставленный вопрос особенно пригоден рассказ «Супруги Орловы» («Рассказы». Т. II). Орлов все время пьянствовал, сапожным своим ремеслом занимался плохо и

колотил жену, как только мог. Бедная Матрена, у которой он не раз выбивал плод из чрева, стала даже неспособна к деторождению. Судьба указала выход к спасению Орловым. В городе была холера, супругов взяли на службу в холерные бараки. Матрена стала на путь возрождения, и пошла по нему. Когда бараки закрылись, докторша предложила Матрене устроить ее при школе, и та зажила трудовой жизнью, выучилась грамоте, взяла себе на воспитание двух сирот из приюта. Муж ее, Григорий, который тоже было сначала почувствовался в бараках, потом начал пить, безобразничать, бить жену; хотел ее снять с места, но этого не допустили, и он ушел «босячить», как определила его жена. Максим Горький повествует о Григории:

Мне удалось познакомиться с ним. Я нашел его в одной из городских трущоб, и в два-три свидания мы с ним были друзьями. Повторив историю, рассказанную мне его женой, он задумался ненадолго и потом сказал:

— Вот, так-то, значит, Максим Савватеич, приподняло меня да и шлепнуло. Так я никакого геройства и не совершил. А и по сю пору хочется мне отличиться на чем-нибудь... Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И сказать им: ах вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное и больше ничего! И потом вниз тормашками с высоты и... вдребезги! Н-да-а! Черт те возьми... скучно! И ах, как скучно и тесно мне жить!... Думал я, сбросив с шеи Матрешку: — н-ну, Гриня, плавай свободно, якорь поднят! Ан не тут-то было — фарватер мелок! Стоп! И сижу на мели... Но не обсохну, не бойсь! Я себя проявлю! Как? — это одному дьяволу известно... Жена? Ну ее ко всем чертям! Разве таким, как я, жена нужна? На кой ее... когда меня во все четыре стороны сразу тянет... Я родился с беспокойством в сердце... и судьба моя — быть босяком! Самое лучшее положение в свете — свободно и... тесно все-таки! Ходил я и ездил в разные стороны... никакого утешения... Пью? Конечно, а как же? Все-таки водка — она гасит сердце... А горит сердце большим огнем... Противно все — города, деревни, люди разных калибров... Тьфу! Неужто же лучше этого и выдумать ничего нельзя? Все друг на друга... так бы всех и передушил! Эх ты жизнь, дьявольская ты премудрость!

Необходимо добавить, что в этой тираде Орлова, после фразы «...собрать шайку товарищей!» стояло первоначально «и перебить всех жидов». Затем эта вторая половина ввиду симпатии автора к евреям была в последующих изданиях откинута.

Замыслы Орлова, или, вернее, его пьяные речи, широки. Он хочет геройства, хочет «раздробить всю землю», мечтает о шайке товарищей, о том, «чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты». При этом отрицается семья, высказы-

вается готовность и самому разбиться вдребезги, полетев вниз тормашками. И, главное, — «скучно»! Все эти предприятия и намерения возбуждаются скукою и разрешаются пьянством. Мир для «босняка» Орлова тесен, ему все противно. Он убежден, что можно было выдумать что-либо лучшее. Это уже недовольство и самим мирозданием.

Действительно ли существует такой «босьяк», как Орлов, в чистом виде, — мы сомневаемся, но вполне уверены, что многие сколько-нибудь грамотные «босьяки» выучили монолог Орлова столь же твердо, как добрый христианин заповеди Господни. В словах Орлова — босьяцкий катехизис, проповедуемый Горьким. «Босьяк», — этот новый, кабацкий Фауст, не нашедший в мире ничего его удовлетворяющего, этот новый вертепный Демон, не желающий благословить ничего во всей природе⁶, — идет походом на Бога, потому что Он не так создал мир, на людей, потому что они — гады, жулье и лицемеры, на жену, потому что она ему мешает, на города и деревни, потому что они ему противны. «Босьяк», мечтающий всех передуть (своего рода Калигула⁷, жалеющий, что у рода человеческого не одна голова для ее отсечения сразу), — существо, вовсе не безопасное для общественного спокойствия. Представьте себе скопище таких Орловых, напившихся до неистовства водкою и идущих, с готовностью разлететься самим вдребезги, душить встречного и поперечного. Это не особенно заманчиво. Тут и пугачевщина покажется детской игрою. С каждым Орловым порознь, при хорошей организации санаторий для алкоголиков и рабочих домов для тунеядцев, справиться легко. Это отнюдь не какая-либо новая органическая сила, ее же ничем не сломишь, — это просто отброс, который может послужить и на пользу, и во вред. Все равно, как отбросы физической жизни могут служить и для удобрения нивы, и для заражения воды и воздуха, судя по тому, как с ними распорядиться.

Но с Орловыми, в массе, иметь дело нежелательно. Это — горючий элемент.

А мы что же делаем? Максим Горький воспекает «босьяков», а ликующая публика, вместо того, чтобы понять все зло этого воспевания, весь его отвратительный яд, все развращающее его значение, стонет от восторга и представляет себе грязные босые ноги Орлова у себя на голове и готова целовать эти модные ныне ноги и подставлять лицо плевкам этого босьяцкого, благоухающего винным перегаром рта.

Делается это, как мы уже указывали, бессознательно, но страшна эта самая бессознательность. Простительно легкомыс-

ленной дамочке-щеголихе сегодня хохотать над картинкой, изображающей моды бабушкиных времен, а завтра, хоть ценою семейной трагедии, спешить надеть тот же бабушкин наряд, ставший модным. Это пошло, смешно — и только.

Но непростительно большинству общества, себя уважающего, кувырнуться перед всяким новым модным идиолом, будь то декадентское кривлянье импотентных поэтов, художников и музыкантов последней формации, будь то сквернословье босяка и его разнузданная коростовая нагота. Читатель, если он уважает себя и если мозги у него работают, должен относиться критически к предлагаемой ему духовной пище. Нельзя на удочку таланта идти с неразумием рыбы, никогда не выдавшей приманки лукового ловца и обрадовавшейся лакомому куску. Под живым рассказом нередко кроется ужасная проповедь.

Наш бессмертный баснописец⁸ в своей басне «Сочинитель и разбойник» казнит первого тяжелее, чем второго. На удивленье сочинителя по поводу такой несоразмерности кары, Мегера⁹ ему поясняет:

Смотри на злые все дела
И на несчастья, которых ты виною!
Вон дети, стыд своих семей,
Отчаянье отцов и матерей:
Кем ум и сердце в них отравлены? — Тобою,
Кто, осмеяв как детские мечты,
Супружество, начальства, власти,
Им причитал в вину людские все напасти,
И связи общества рвался расторгнуть? — Ты.
Не ты ли величал безверье просвещеньем?
Не ты ль в приманчивый, в прелестный вид облек
И страсти, и порок?
И, вон, опоена твоим ученьем,
Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами,
И до погибели доведена тобой!

Многим сочинителям, и Максиму Горькому из первых, не вредно было бы помнить басню эту наизусть.

Те художественные достоинства его произведений, о которых мы будем говорить в последующих статьях, не искупают их вредного, как проповеди «босячества», как его идеализации, значения.

Не будь этой проповеди, сочинения Горького никогда не имели бы того успеха, который они имеют.

VII

Принципы «босняка» лежат не в нем только, принимая его, как жителя трущоб. Они забираются и в среду, носящую по праздникам хорошо вычищенные сапоги.

Поучителен, как пример, рассказ «Озорник» («Рассказы». Т. II). Этот озорник — рабочий, наборщик Гвоздев. Набирая статью редактора, он, после написанной редактором фразы: «Наше фабричное законодательство всегда служило для прессы предметом горячего обсуждения...» прибавил от себя: «т. е. говорения глупой ерунды и чепухи». В таком виде статья, к великому конфузу редактора, и вышла в свет. Пошел разбор между наборщиками, чтобы дознаться, кто это совершил. Гвоздев не запирался и на требование объяснить причину своей выходки, объяснил:

— Я, пожалуй, скажу... Только как я необразованный человек, то, пожалуй, непонятно будет... Ну, уж, извините тогда!... Вот, стало быть, в чем дело. Вы пишете разные статьи, человеколюбие всем советуете и прочее такое... Не умею я сказать вам все это подробно — грамоту плохо знаю... Вы, чай, сами знаете, про что речи ведете каждый день... Ну, вот, я и читаю эти ваши статьи. Вы про нашего брата, рабочего, толкуете... а я все читаю... И противно мне читать, потому что все это пустяки одни. Одни слова бесстыжие, Митрий Павлыч!.. потому что вы пишете — не грабь, а в типографии-то у вас что? Кирьянов на прошлой неделе работал три с половиной дня, выработал три восемь гривен и захворал. Жена приходит в контору за деньгами, а управляющий ей говорит, что не ей дать, а с нее нужно рубль двадцать получить — штраф. Вот-те и не грабь! Вы что же про эти порядки не пишете? И как управляющий лается и мальчишек дует за всякую малость?.. Вам этого нельзя писать, потому что вы и сами-то этой же политики держитесь... Пишете, что людям плохо жить на свете, — и потому вы, я вам скажу, все это пишете, что ничего больше делать не умеете. Вот и все... И потому под носом у себя вы никаких зверств не видите, а про турецкие зверства очень хорошо рассказываете. Разве это не пустяки — статьи-то ваши? Давно уж мне хотелось, стыда вашего ради, истинные слова в ваши статьи вклеить. И не так бы еще надо.

Гвоздева выгнали из типографии. Он, в праздничный день, одетый довольно прилично, встречается на общественном гулянье редактора и вступает с ним в объяснения. Надо заметить, что, как оказывается, в детстве редактор — сын дьякона и наборщик — сын мещанина были товарищами игр.

Гвоздев обратился к редактору с такою речью:

— Вы, Митрий Павлович, не сердитесь на меня за этот мой поступок. Извините! Я ведь это со зла... Нашего брата иногда такое зло разбирает,

что и вином не зальешь... Ну, в такую вот пору и созорничаешь над кем-нибудь: прохожему в рыло дашь или что другое... Я не каюсь — что сделано, то сделано, но, может, я даже очень хорошо понимаю, что сделал-то не совсем в меру... Перехватил.

Высказав это, Гвоздев развивает свою мысль дальше:

— Так вот, Митрий Павлович, значит, оно и выходит, что я одного с вами гнезда птица... Да! А полеты у нас разные... И как вспомню я, что ведь вся разница между мной и моими товарищами бывшими только в том, что не сидел я в гимназии за книгами, — горько мне и тошно бывает... Разве в этом человек? В душе он, в чувствах к ближнему своему, как сказано... Ну, вот — вы мой ближний, а какую я цену имею для вас? Никакой — верно?

Редактор, увлеченный своими мыслями, не расслышал, должно быть, вопроса своего собеседника.

— Верно! — сказал он тоном искренним и рассеянным. Но Гвоздев захохотал, и он спохватился:

— Т<о> е<сть> позвольте? Что, собственно, верно?

— Верно, что я для вас — пустое место... Есть я или нет меня, вам все равно, наплевать. Зачем вам душа моя? Живу я один на свете и всем людям, меня знающим, очень надоел. Потому — у меня характер злой, и очень я люблю разные фокусы выкидывать. Однако, у меня чувства ведь тоже есть и ум есть... Я чувствую обиду в моем положении... Чем я хуже вас? Только моим занятием...

— Д-да... это печально! — сказал редактор, наморщив лоб, сделал паузу и продолжал, каким-то успокаивающим тоном: — Но, видите ли, тут нужно применить другую точку зрения...

— Митрий Павлович! Зачем точка зрения? Не с точки зрения человек человеку внимание должен оказывать, а по движению сердца. Что такое точка зрения? Я говорю про несправедливость жизни. Разве можно меня с какой-нибудь точки забракловать? А я забракрован в жизни — нет мне в ней хода... Почему-с? Потому, что не учен? Так ведь ежели бы вы, ученые, не с точек зрения рассуждали, а как-нибудь иначе, — должны вы меня не забыть и извлечь вверх к вам снизу, где я гнию в невежестве и озлоблении моих чувств? Или — с точки зрения — не должны?

Гвоздев прищурил глаз и, торжествуя, посмотрел в лицо своего собеседника. Он чувствовал себя в ударе и выпускал из себя всю свою философию, придуманную в долгие годы своей трудовой, безалаберной и бесплодной жизни. Редактор был смущен натиском собеседника и старался определить — что это за человек и что ему возразить на его речь? А Гвоздев, в упоении самим собой, продолжал:

— Вы люди умные, сто ответов мне дадите, и все будет — нет, не должны! А я говорю — должны! Почему? Потому что я и вы — люди из одной улицы и одного происхождения... Вы не настоящие господа жизни, не дворяне... С тех нашему брату взятки гладки. Те скажут: «Пшел к черту!» — и пойдешь. Потому — они издревле аристократы, а вы потому аристократы, что грамматику знаете и прочее... Но вы — свой брат, и я могу требо-

вать с вас указания пути моей жизни. Я мещанин, и Хрулев тоже, и вы — дьяконов сын...

— Но, позвольте... — просительно сказал редактор, — разве я отрицаю ваше право?

Но Гвоздеву совсем неинтересно было знать, что отрицает и что признает редактор; ему нужно было высказаться, и он чувствовал себя в этот момент способным сказать все, что когда-либо волновало его.

— Нет, вы позвольте! — уже каким-то таинственным шепотом говорил он, близко склоняясь к редактору и блестя возбужденными глазами. — Как вы думаете, легко мне теперь работать на моих товарищей, которым я в старину носы расквашивал? Легко мне с господина судебного следователя Хрулева, у которого я с год тому назад ватерклозет устанавливал, сорок копеек на чай получить? Ведь он человек одного со мною ранга... и было его имя Мишка Сахарница... у него зубы гнилые и посейчас, как тогда были...

Учение Гвоздева то же, «босяцкое» же. Он бьет обывателя по лицу, как били в Петербурге и Радоме босяки офицеров, бьет потому, что его «зло разбирает». Он зол на тех, кто выше, кто пробился в жизни. Он не дорос до сознания, что во всяком деле и ремесле должно быть человеком, полным достоинства, но дорос до беспричинной зависти и неистовой злобы. Ученье Гвоздева — ученье всех революционеров, мечтающих из сапожников стать большими господами. Ломоносовы становятся на первое место силою одной личной самодеятельности, Гвоздевы хотят куда-то возвыситься злобой, нахальством, кулаком, а при случае и ножом, пока не доживут до динамита.

М. Горький так любовно очерчивает Гвоздева и таким плюгавым выставляет его собеседника, редактора, что нет сомнения, на чьей стороне симпатии писателя.

VIII

Чтобы оттенить свое исповедание веры, М. Горький не ограничился отдельными типами «босяков» и «озорников». Он обобщил свои идеи, перенес их в область фантазии. Пятый том его рассказов кончается «Песнью о Буревестнике». Вот эта песнь целиком:

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То волны крылом касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем. и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятыем крепким и бросает их с размаха в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!..

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи вьются в море исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!

Вот он — гимн бури и разрушения, озорная босяцкая «Марсельеза», призывный клич к победе путем бури! И чем она сильнее будет, — тем лучше.

Все нами сказанное вытекает из приведенных нами цитат, из тех книг, которых полмиллиона экземпляров несут по всей Руси Святой проповедь «босячества» и попрапия всякой веры и всякой нравственности.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Начало проповеди Максима Горького. — Первые произведения.

I

Максим Горький, бесспорно, обладает литературным дарованием. Не в той, конечно, мере и степени, как утверждают его поклонники, но дарованием незаурядным. При прочтении одного, двух рассказов Горького, особенно таких характерных, как «Мальва» или «Коновалов», можно даже составить себе преувеличенное понятие о его таланте. Когда же залпом прочи-

тываешь все шесть томов его рассказов, романов и драм, то получается иное впечатление, разжиженное, ослабленное, замечаются повторения, искусственность письма, предвзятые, шаблонные эффекты. Творческое вдохновение у Максима Горького почти отсутствует, его заменяют наблюдательность, готовность подладиться к вкусам читающей толпы и стремление к проповедничеству, к проведению в сознание читателей известных идей, усвоение которых публикой автор для своих, менее всего литературных, целей считает необходимым.

С начала своей литературной деятельности Максим Горький учителствует. Первый том его рассказов начинается двумя вещами, помеченными 1892 годом, т. е. тем временем, когда автору, родившемуся, по его автобиографии, в 1869 году¹⁰, было всего 23 года. Два эти рассказа — «Макар Чудра» и «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины».

Как первые опыты писательства Максима Горького, эти разнообразные по стилю рассказы должны быть особенно отмечены. В них коренится ядро дальнейшей деятельности писателя.

«Макар Чудра» — один из многочисленных очерков, материал для которых Горький нашел среди своих босяцко-бродяжеских скитаний. Макар Чудра — старый цыган, вдумчивый и мудреный философ, знающий суть жизни. Табор Макара странствует в степях Новороссии, на полях Бессарабии. Однажды у костра Чудра поучает рассказчика. Он говорит:

— Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай — вот и все!

— Жизнь? Иные люди? — продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «так и надо». — Эге! А тебе что до того? Разве ты сам не живешь? А другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб и не палка, ну, и не нужно тебя никому.

— Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут, что есть, которые поглупее — те ничего не получают, и всякий сам учится...

— Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и дают друг друга, а места на земле вон сколько, — он широко повел рукой на степь. — И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пахнет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, дураком.

— Что же, он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю, да умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Ведома ему воля?

Ширь степная понятна? Говор степной волны веселит ему сердце? Он раб, — как только родился и во всю жизнь раб, да и все тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного.

— А я, вот смотри, в 58 лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди — и все тут. Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон как день и ночь вечно бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол.

— В тюрьме я сидел, в Галичине. Зачем я живу на свете? — помыслил я как-то раз со скуки, — скучно в тюрьме, сокол, э, как скучно! — и взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его, как клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол! И спрашивать себя про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай, да поглядывай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, вот как!

— Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в Божьем слове. Богу покоряйся, и Он даст тебе все, что просишь у Него. А сам он весь в дырках, рванный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у Бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже учитель! Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки.

Бродяжество признается Чудрою высшим делом человека. Это — не мнение кочевого по природе человека — цыгана. Это случайно вложенное в уста цыгана Чудры учение самого автора. Слишком по-образованному рассуждает этот цыган, хотя автор и старается некоторыми штрихами придать его рассуждениям цыганский колорит. «Ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай». Это не наивное суждение старика-цыгана, а домысел больного, тронутого цивилизацией ума. Сравните Чудру со стариком-цыганом в бессмертной поэме Пушкина «Цыганы». Условия стихотворного изложения заставили поэта вложить в уста темного цыгана речь, соответствующую лицу более образованному, но гений поэта даже в рассказе старика об Овидии сумел сохранить наивность и простоту первобытных понятий и чувствований человека, близкого к природе.

У Макара наоборот, — вопросы о том, можно ли научиться сделать людей счастливыми, нужен ли труд. У Макара не наивное безверие, а издевательство человека-практика над Божеством. Макар учащему его, что Бог дает просящим все, ими просимое, прямо ставит вопрос: попроси у Бога новой одежды

вместо твоей рваной. Макар любит свободу, но не свободу в широком духовном значении этого великого слова, а свободу, как возможность не трудиться, не заботиться ни о чем, и слоняться из угла в угол.

Для характеристики избранного автором действующего лица исповедание веры, вложенное в уста Чудры, ничего не дает, так как такой Чудра никогда не мог ничего подобного сказать. Это — мысли самого автора, которыми он спешит поделиться с читателем в первых строках своего писательства.

Макар Чудра вообще ни при чем в рассказе, озаглавленном его именем. Во второй части этого рассказа, Макар повествует об одном случае, которого он в своей цыганской жизни был свидетелем. Случай этот — любовь с трагической развязкой молодого цыгана Лойки Зобара к красавице-цыганке Радде. Зобар был знаменит. «Вся Венгрия, Чехия и Словения, и все, что кругом моря, знало его, — удалый был малый». Радда была так красива, что словами это описать невозможно. «Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает».

Радда немало погубила сердец.

— «Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На Мораве, один магнат, старый, чубатый, увидал ее, и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля, как молния, сверкает, чуть конь ногой топнет... вся эта сабля в камнях драгоценных и голубой бархат на шапке, точно неба кусок, — важный был государь старый! Смотрел, смотрел, да и говорит Радде: Гей! Поцелуй, кошель денег дам. — А та отвернулась в сторону, да и только! — Прости, коли обидел, взгляни хоть поласковой, — сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель — большой кошель, брат! А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и все тут.

— Эх, девка! — охнул он, да и плетью по коню, — только пыль взилась тучей.

А на другой день снова явился. — Кто ее отец? — громом гремит по табору. Данило вышел. — Продай дочь, что хочешь возьми! — А Данило и скажи ему: Это только паны продают все от своих свиней до своей совести, а я с Кошуттом воевал и ничем не торгую! — Взревел было тот, да и за саблю, но кто-то из нас сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись, да и пошли. День идем и два, смотрим — догнал! Гей, вы, говорит, перед Богом и вами совесть моя чиста, отдайте девку в жены мне: все поделю с вами, богат я сильно! — Горит весь и, как ковыль под ветром качается в седле. Мы задумались.

— А ну-ка, дочь, говори! — сказал себе в усы Данило.

— Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? — спросила нас Радда.

Засмеялся Данило, и все мы с ним.

— Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело! Голубок ищи — те податливей. И пошли мы вперед.

А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал, поскакал так, что земля задрожала.

Некоторый комизм этого описания с его преувеличениями уже дал однажды повод В. П. Буренину для ряда юмористических замечаний¹¹. Люди с литературным вкусом сразу увидят лубочность этого образа влюбленного пана с его отчаянными страстями.

Но не он один был без памяти влюблен в Радду. Влюбился в нее и помянутый уже знаменитый конокрад и победитель женских сердец Лойко Зобар. Зобар пленяет всех необычайной игрой на скрипке, но игра эта не трогает Радды: она даже подсмеивается над его песнями, приводящими всех в восторг и удивление.

Зобар просит руки Радды у ее отца Данилы. Данило дает согласие. Новые насмешки Радды. Когда он протягивает ей руку, с согласия отца, — она захлестывает ему ременное кнутовище за ноги и валит его на землю. Лойко идет в степь. Цыганы боятся, не наложил бы он на себя рук и посылают Макара следить за ним. Зобар сидит в молчаливом отчаянии. Ночью к нему приходит Радда. Он бросается с ножом на обидчицу, — она обороняется, направив в него пистолет. Радда согласна быть женой Зобара, она признается, что любит его, но волю она любит больше всего на свете. Она признает, однако, что друг без друга им не жить.

Она говорит:

— А еще вот что, Лойко: все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею, моим будешь. Так не теряй же даром времени — впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки... крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой позабудешь ты свою удалую жизнь... и живые песни твои, что так радуют молодцов цыган, не зазвучат по степям больше — петь ты уж будешь любовные, нежные песни мне, твоей Радде... Так не теряй даром времени, — сказала я это, значит, ты завтра покоришься мне, как старшему товарищу юнаку. Поклонись мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою, — и тогда я буду твоей женой.

Зобар поутру явился в табор и сказал цыганам:

— Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только — и все тут! Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица! Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться в ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого Лойку Зобара, который до нее играл с девушками, как кре-

чет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею! Так ли, Радда? — Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не поняли. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видеть, как Лойко Зобар упадет в ноги девке, — пусть эта девка и сам Радда. Стыдно было чего-то и жалко, и грустно.

— Ну! — крикнула Радда Зобару.

— Эге, не торопись, успеешь, надоеет еще... — засмеялся он. Точно сталь зазвенела, — засмеялся.

— Так вот и все дело, товарищи! Что остается? А остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же, — простите меня, братцы!

Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а Радда уже лежала на земле и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы.

А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

— Прощай, Лойко! Я знала, что ты так сделаешь!.. — да и умерла...

Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была!

— Эх, да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! — на всю степь гаркнул Лойко, да бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча.

Что скажешь в таком деле, сокол? То-то! Нур сказал было: «надо связать его!» Не поднялись бы руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул рукой, да и отошел в сторону. А Данило поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами; на том ноже еще не застыла кровь Радды и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зобару и сунул ему нож в спину, как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данило!

— Вот так! — повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойко и ушел догонять Радду.

А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойко Зобар. На лицо его пали кудри и не видно было его лица.

Рассказ Чудры сделал огромное впечатление на Максима Горького. Старик заснул, но Горькому спать не хотелось.

Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно-красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками.

А за ней по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали чистые, холодные и крупные слезы...

Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган — Лойко Зобару и Радде, дочери старого солдата Данилы.

А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно и никак не мог красавец-певун Лойко поровняться с гордой Раддой.

Картинно-декоративный стиль повествования сохранен до конца. Описание трупов Радды и Зобара напоминает ремарку для постановки эффектной сцены. И невольно перед мыслями встает пушкинская цыганская любовная драма: вся — жизнь, вся — огонь, вся — страсть.

Мы намеренно остановились на первом и слабом опыте Максима Горького. Пока перо его еще не понаторело, ярче видны его недостатки и достоинства, и рассказ этот дает ключ к пониманию дальнейших, искуснее закрывающих и тенденцию автора, и его манеру письма.

«Макар Чудра» делится на две части, не имеющие между собой никакой внутренней связи. Учение Макара Чудры не нужно для повести Зобара и Радды. Повесть эта ничем не иллюстрирует учения. Сам Чудра, хотя его фигура и описана, является таким же случайным рассказчиком эпизода ему постороннего, как во многих прежних (часто у Тургенева) повестях рассказчики их, упоминаемые в предисловии.

Учение Чудры есть часть учения самого Горького. Тут уже, хотя и в зародыше, гнездятся все те противообщественные идеи, которыми с нами поделятся в дальнейших произведениях Горького его босяки, озорники и т. п.

Манера письма, с некоторыми улучшениями, останется та же и в других произведениях. Горький пишет свою картину теми мазками, которыми пишутся декорации. Условность рисунка останется та же. Автор не лишен разнообразия. Он видит упавшие фигуры Радды и Зобара. Не только описывает их, но именно видит. Но видит их не в своеобразных картинах, а в условных. Прижатая к ране прядь волос у Радды, рассыпавшиеся и закрывающие лицо кудри Зобара, — все это так знакомо, хоть и эффектно, что невольно спрашиваешь себя: да нужны ли эти эффекты, виденные давным-давно на тысячах не только картин, но и дешевых ходовых олеографий.

Условность постоянная у Горького, особенно в описаниях природы, напоминает манеру рисовать маринистов-ремесленников. Берется белый лист бумаги, месту для картины отводится круг или эллипсис. На $\frac{1}{3}$ вертикального диаметра проводится перпендикулярно к нему широкая полоса синей краской. Сразу получается эффект линии воды с небом. На этой линии дела-

ется горизонтальный черный мазок, с перпендикулярным черным же мазком, или ставится на той же линии, под углом в 75 градусов, черная линия, а около нее белая клякса. Окружите овал или круг темным фоном и посмотрите издали — морской вид с пароходом или с парусным судном на горизонте. Поотделать такую картинку некоторыми дополнительными мазками и — что твой Айвазовский!

На самом деле это вовсе на море не похоже, и если показать этот рисунок моряку, видевшему море, но не смотревшему картин, он не узнает изображения, а полукультурный зритель, видевший больше таких малеваний, чем моря в природе, будет восхищаться, говорить, что в акварели много воздуха, света, что дышится вольнее, как будто вдыхаешь соленую влагу. А штука-то очень простая: привычные для глаза мазки подействовали на те точки мозга, которым положено думать о море, — и готово.

В литературных образах те же условные впечатления вызываются подобными же несложными приемами.

Но никогда не следует смешивать ложного впечатления с самым предметом, его производящим. Предмет художества должен быть оцениваем сам в себе и тогда лишь можно ловкую ухватку отличить от творчества, и условный прием от вдохновенного создания.

II

Вторая по порядку повесть М. Горького, помеченная тоже 1892 годом, называется «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины».

М. Е. Салтыков (Щедрин) в последние годы своей деятельности писал сказки, где животные являлись олицетворениями людей. Большой сатирический талант автора искупал неприкрытую тенденциозность этих сказок, а слава его имени, создававшаяся благодаря не этим сказкам, а другим, более зрелым и цельным произведениям, заставляла прислушиваться к каждому его слову. При этом, так как Щедрин задевал почти всегда лиц ему современных, то полудетское любопытство публики побуждало доискиваться: «на кого написано», а это придавало особый вкус сочинениям нашего сатирика.

На первых же шагах своей деятельности М. Горький, в своей повести о «Чиже и Дятле», поплелся по проторенной Щедриным дороге. Опыт оказался очень неудачным, но он дал воз-

возможность начинающему писателю высказать публике некоторые свои сокровенные мысли. Он вообще спешил это сделать. Невзирая на молодой возраст и на литературную неопытность, он, как бы верхним чутьем, постиг, что проповедь тех или иных идей может пойти успешно, под непременною условием ознакомить читателя со своими основными положениями, взять его сразу в руки, заинтересовав собою настолько, чтобы еще долгое время читатель-зауряд принимал, как перлы создания, все выходящее из-под пера облюбванного писателя.

Это так хитро и так притом неоспоримо верно, что остается дивиться такой проницательности в начинающем писателе. Это случилось не невольно, что следом за Макаром Чудрою Чиж стал проповедовать. Тут придуманность какая-то чувствуется. Точно какой-то скрытый двигатель руководил молодым писателем и заставлял его выполнять заранее обдуманые и намеченные вещи.

Послушаем проповедь Чижа и отповедь Дятла. Дело происходило в роще, в серый, непогожий день. «Тон всему в роще давали вороны, птицы по существу своему мизантропические и, кроме более или менее громкого карканья, ни к чему неспособные». «В другое время, — говорит рассказчик, — на них бы не обратили внимания, но теперь, когда их голоса преобладали, их слушали и даже считали очень мудрыми птицами. Мрачная песня — карканье ворон — была такова:

Карр!.. В борьбе с суровым роком
 Нам, ничтожным, нет спасенья.
 Все, на что ни взглянешь оком, —
 Боль и горе, прах и тленье...
 Карр!.. Страшны удары рока!..
 Мудрый пусть им покорится...

Карр... карр... Скучная песня!.. но сильная, ибо она угнетала всю рощу. И вдруг зазвучали смелые песни...

Вся роща, много слушавшая песен, встрепенулась, и с напряженным вниманием прислушивалась, удивленно и тихо шелестя ветками. И даже соловьи, которые всегда поют недурно, потому что они жрецы чистого искусства, с удовольствием слушали и говорили:

— А ведь у этого певца есть искорка!..

И, говоря так, втайне гордились своим пристрастием.

А певец пел:

Я слышу карканье ворон
 Смущенных холодом и тьмой...
 Я вижу мрак, — но что мне он,
 Коль бодр и ясен разум мой?..

За мной, кто смел! Да сгинет тьма!
 Душе живой — в ней места нет!
 Зажжем сердца огнем ума
 И воцарится всюду свет!..

— Сильно спето! — комментировали соловьи. — Молодо, самонадеянно, не музыкально, — но сильно, — и глубокомысленно почистив носики, они слушали дальше.

Кто честно смерть принял в бою,
 Тот разве пал и побежден?
 Пал тот, кто робко грудь свою
 Прикрыв, ушел из битвы вон...
 Друзья! и тот пал, кто, боясь
 Труда, волнений, боли ран,
 О битве судит, погрузясь
 В философический туман...

— Гм... у него очень оригинальные взгляды! — отметили соловьи. — Хотелось бы знать, что это за птицы!.. — полюбопытствовали они.

Друзья! пусть падшие молчат,
 Им очи съел сомнений дым;
 В сердцах их честь и гордость спят...
 Друзья! давайте крикнем им:
 Прочь! ваших мудрствований чад
 Темнее сделал эту ночь.
 И отравляет он, как яд,
 Умы и души юных... Прочь!..
 Прочь!.. Здесь объявлена богам
 За право первенства война!

— Это смело! — сказали соловьи. — О, да!.. Это очень смелая песня!..

Роща слушала и даже старые деревья зашептали о прошлых днях. «То были славные весенние дни, когда в роще только что начинали расцветать цветы и надежды, когда птицы пели звучные гимны солнцу, а свободное от туч небо казалось бесконечно глубоким... То были хорошие дни, когда не нужно было принуждать себя жить, потому что жить хотелось, ибо была цель и была надежда достичь ее».

Итак, мораль сей басни та, что в 1892 году все закрывали мрачные тучи, карканье ворон стало руководящей песнью и жить надо себя принуждать, ибо цели жизни уже нет и надежды достичь цели, если бы она была, — тоже нет. Какие же и когда были эти «славные весенние дни»? Отгадать нетрудно, что речь идет о шестидесятых и семидесятых годах XIX века, закрывшихся тучами годов восьмидесятых.

Но и в те «весенние дни» бесконечное число и горьких, и сладких, и кисло-сладких нытиков-писателей говорили о ту-

чах, закрывающих солнце, и затем, когда наступила иная пора, то стали ныть на тему, что тогда, мол, сияло солнце, а теперь перестало сиять. Человек почти никогда недоволен настоящим, прожитой день беды, по вещему слову поэта, становится ему мил. Если человек идет к склону лет, он говорит: «в наше время было не то...»; если он молод и только что начал жить, он утверждает: «хорошо было предыдущим поколениям»... Человек склонен искать утешения от неровностей настоящего, противопоставляя им надежды на лучшее будущее, или сравнивая их с полузабытым, в мелочах, прошлым.

Но сказать, что лишь прошлое имело цель и надежды, а настоящее его не имеет, значит не только сказать логический абсурд, но и осудить самые эти цели и надежды, которые не исполнились и не осуществились. Если они не исполнились, — значит, были ложны, неверны, неосновательны. А потому и говорить о них стоит лишь как об исторических документах, — не более.

Спокойно взирающий на ход развития своей страны русский человек не отвергнет никакой минуты исторической жизни народа. Если она была, то быть ей было должно, — гласит фатализм истории, но деятели известного времени всегда могут наносными придатками усугубить тягость минуты и даже исказить сущность жизненного явления.

Так и случилось с шестидесятыми и семидесятыми годами. Это были действительно дни весны, но весны ранней и спорой, — той весны, когда — не успеешь оглянуться — уже снег обратился в мутные потоки, внезапные паводки рвут запруды и плотины, сносят мельницы и жилища, губя людей и животных. Дни эти, принесшие много нового света, но и много горя, заблуждений, крови, убийств, растления нравов, ломки основ, — минули. После чрезвычайного и последнего потрясения, после проклятого злодейства 1 марта тучи сразу охватили русское небо¹². Но недолго лежали они на нем. Их разорвали и согнали с неба лучи того русского солнца, которое в летописях русского самосознания зовется Императором Александром III. Не уничтожить былое пришел он, а упорядочить. Не шумихи фраз, влекущей к шумихе дел и к преступным выходкам, хотел он, а спокойного, честного, невидного русского труда на русскую пользу...

Его благотворной деятельности минуло уже 11 лет, когда запел в роще М. Горького Чиж и осудил современное ему настоящее, а рассказчик пояснил чижовые суждения, заговорив о безнадежности и бесцельности жизни.

Идем, однако, далее за автором. Птицы заинтересовались певцом и стали его разыскивать. Немало были они удивлены, что все это поет Чиж и что это он объявляет «войну богам». Песня птицам понравилась, но они потребовали от Чижа подтверждения справедливости его слов. Чиж спел им новую песню:

В тьме нами созданной ночи
 Пронесются серые совы...
 И блещут их мрачные очи.
 И злы, и угрюмо суровы!..
 И гулко их крики несутся,
 Смеются они и рыдают.
 Проклятья в них дню раздаются,
 И ночь они смехом встречают...
 О, если бы мрака оковы
 С моей юной роцци упали,
 Исчезли бы дикие совы
 И соколы только б летали!..
 Но соколы, — слабы и хилы, —
 Забились робко в ущелья
 И злятся без чести и силы
 Под звуки чужого веселья.
 Их крылья уныло повисли,
 Постыдно сердца у них дремлют,
 И голосу чести и мысли
 Свободные птицы не внемлют...

Щегленок требует, чтоб Чиж указал, куда он зовет. Чиж немедленно удовлетворяет это требование и говорит:

Я исхожу из непоколебимого убеждения в высоком призвании птиц, как конечного, самого сложного и мудрого акта в творчестве природы. Мы не должны уставать и должны всегда бороться и все победить, чтобы оправдать самих себя в своих глазах, чтобы иметь право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее — это мы, а не слепая сила стихий. Путь, по которому мы должны идти, мне не знаком, но я уверен, что нужно идти вперед. Там страна, достойная быть наградой за те труды, которые понесли мы в пути! Там вечный, неиссякаемый свет, там неведомые нам чудеса; там мы насладимся созерцанием нашей силы, и весь мир будет ареной наших деяний, величие которых невозможно представить нам теперь, там мысль наша разрешит все, и наши чувства, осложненные до чудесного, откроют перед нами новый мир неиспытанных наслаждений; там она — жизнь, достойная нас!.. Уважайте и любите друг друга и, идя гордой и смелой дружиной к победе, не сомневайтесь ни в чем, ибо что есть выше вас? Обернитесь назад и посмотрите, чем вы были раньше, — там, на рассвете жизни? Вся ваша вера тогда — не стоила одной капли сомнения — теперь... Научившись так страшно сомневаться во всем, вам пришла

пора — уверовать в себя, ибо только великая сущность может дойти до такого сомнения, до какого дошли вы!..

Туда — в страну счастья! Туда — в это чудное «вперед»!

Призыв птицам понравился, и они дружно крикнули «вперед»! Но Дятел рассеял все иллюзии. Он заявил, что Чиж всех обманывает, что он сам не знает, куда зовет, что за рощей голое поле, а далее деревни и в них птицеловы, и что вылет из рощи приведет лишь к опасностям, гибели и, в лучшем случае, по облетении всего шара земного, к возврату, после ряда страданий, в ту же рощу.

Чиж заплакал и сознался, что он сказал ложь, что он не знает, что за рощей, но сказал он ложь потому, что верить и надеяться так хорошо, а он хотел пробудить веру. Птицы оставили Чижа.

М. Горький заключает и поясняет:

Вот и вся история... Прочитав ее, ты, конечно, увидишь, что Чиж благороден, но не имеет веры и поэтому нищ духом: Дятел благоразумен, но пошл, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но они, в сущности, черствы сердцем и мелки, мелки, позорно мелки... Увидав это, ты подумаешь, что я неверно рассказал эту до слез смешную историю. Думай так, если это тебя утешает, думай!

В конце концов автор всех осудил. Ни идеалист Чиж, ни практик Дятел, ни птицы, ради которых и тот, и другой тратили слова, — ничто не нашло сожаления у автора. Ему будто бы все равно, что скажет читатель на эту историю.

Но автор не порицает самой теории Чижа, он порицает в нем отсутствие веры. Это очень туманно и несогласно с изложенными обстоятельствами. Если бы в Чиже не было веры, то он и не стал бы звать за собою. Чиж сам говорит, что «верить — так хорошо!» Тут есть что-то недосказанное. М. Горький не из тех, которые такое отвлеченное понятие, как вера, считают фактором жизни. М. Горький, как показывают все его произведения, принимает во внимание лишь реальное проявление сил.

И недаром брошена ироническая фраза: «Думай, что я неверно рассказал». Эта фраза и дает ключ к пониманию басни. М. Горький и сам знает, что намеренно неверно закончил свою историю. Ему рано было доканчивать ее. Ведь его проповедь только что началась. Чиж потому не годится на свою роль, что он слаб. Тут нужна иная сила в вожди. Но где же было ее взять. Взять Сокола? Но сам Чиж от этой мысли отказался: «Соколы — слабы и хилы». Они утратили былое значение. Да

не один Сокол (не одно какое-либо сословие), а все: у них нет «ни чести, ни силы», «крылья повисли».

Надо найти вождя, и тогда проповедь Чижа пойдет на пользу. Вождь Максимом Горьким найден, но он не мог его обнаружить в той же маленькой сказке. Тут нужна была еще подготовительная работа, нужно было особое умение, чтобы будущий вождь получил права гражданства у читателя, у массы. Показать его сразу, да еще в птичьем образе, было большим риском. Его надо было выводить мало-помалу, последовательно, пока он не достигнет уготованного ему пьедестала. К этой подготовке М. Горький и приступил со следующего же своего рассказа.

III

Излюбленный собирательный тип М. Горького впервые намечается в третьем по порядку его рассказе — «Емельян Пиляй», относящемся к 1893 году.

В рассказе этом тип босяка робко сравнительно выражен, только что очерчен и усердно одобрен сентиментализмом заключительных страниц.

Не пившие, не евские дня два Емельян Пиляй и его товарищ Максим Горький, не найдя работы в Одессе, идут «на соль», т. е. на соляные промыслы, чтобы путем тяжкого труда заработать гривен по шесть в день.

— Ну, что ж, идем на соль! — говорит Максим.

— Так... иди!.. А ты сладишь? — вопросительно протянул он, не глядя на меня.

— Там увидим.

— Так, значит, идем? — не шевеля ни одним членом, повторил Емельян.

— Ну, конечно!

— Ну, конечно!

— Ага! Что ж, это дело... пойдём! А эта проклятая Одесса — пусть ее черти проглотят! — останется тут, где она и есть. Портовый город! Чтоб те провалиться сквозь землю!

— Ладно, вставай и пойдём; руганью не поможешь.

— Куда пойдём? Это на соль-то?.. Так. Только вот видишь ли, братику, на соли этой тоже толку не будет, хоть мы и пойдём.

— Да ведь ты же говорил, что нужно туда идти.

— Это верно, я говорил. Что я говорил, так говорил, уж я от своих слов не откажусь. А только не будет толку, это тоже верно.

— Да почему?

— Почему? А ты думаешь, что там нас дожидаются, дескать, пожалуйте господу Емельяну да Максиму, сделайте милость, ломайте ваши кос-

ти, получайте наши гроши!.. Ну, нет, так-то не бывает! Дело стоит вот как: теперь ты и я — полные хозяева наших шкур...

— Ну, ладно, будет! Пойдем!

— Погоди! Должны мы пойти к господину заведывающему эту самую солью и сказать ему со всем нашим почтением: милостивый господин, многоуважаемый грабитель и кровопийца, вот мы пришли предложить вашему живоглотию оные наши шкуры, не благоугодно ли вам будет содрать их за 60 копеек в сутки! И тогда последует...

— Ну, вот что, ты вставай и пойдём... До вечера придем к рыбацким заводам, поможем выбрать невод — накормят ужином, может быть.

— Ужином? Это справедливо. Они накормят; рыбацки народ хороший. Пойдем, пойдём... Но уж толк, братец ты мой, мы с тобой не отыщем, потому — незадача нам с тобой всю неделю, да и все тут.

«Теперь ты и я — полные хозяева наших шкур», — говорит Пиляй, хотя едва ли он мог выразить эту мысль такими словами.

Заведывающий соляными промыслами — «грабитель и кровопийца». Сразу устанавливается взгляд на хозяина-эксплуататора и рабочего-жертву, — рабочего, перестающего быть хозяином своей шкуры с той минуты, как он от безработицы или от тунеядства переходит к труду. В повести мы не увидим этого заведывающего промыслом, никакой подробной его характеристики и в рассказах других лиц нет. Следовательно, его кровопийство и грабительство — не личный признак, а родовой признак работодателя, по мнению Пиляев и Горьких. Этот кровопийца начинает с того, что отнимает самое дорогое — свободу у рабочих, которые делаются уже не хозяевами своей шкуры.

Этот мотив проходит затем в других рассказах Горького, как неприменный догмат босяцкой религии.

Такая односторонность взгляда уничтожает возможность правильного воззрения на рабочий вопрос; она уничтожает и возможность здоровых взаимоотношений между работодателями и работниками. Что между работодателями немало кровопийц и грабителей, это столь же верно, как и то, что между рабочими немало неблагодарных тунеядцев, готовых ненавидеть хозяина лишь за то, что он хозяин.

«Босяцкий» вопрос есть частью и рабочий вопрос, так как кадры босяков пополняются из числа сбившихся с пути рабочих, а избавиться от босячества возможно, лишь обратив к разумному труду это бродячее отребье рода человеческого. Наконец, «босяк», как бы он ни ленился и ни беспутничал, временную работу берет, хотя и против желания, ибо голод не свой брат, а на кусок хлеба и сороковку водки не всегда можно «настрелять», т. е. выпросить подаваний, не всегда можно и украсть.

И вот с этим-то щекотливым вопросом, при первом с ним соприкосновении, М. Горький обращается сплеча. Человек почти всегда недоволен окружающим настоящим и жалобится на свою участь. Так оно стоит в рабочем вопросе, но это недовольство не может служить мерилom решения самого вопроса. Рабочий вопрос регулируется исключительно законами спроса и предложения. Ни один работодатель не ведет своего дела ради снабжения рабочих заработком, а ведет его ради личной прибыли и потому, естественно, старается за меньшую сумму получить наибольшее количество работы. Ни один рабочий не работает ради прекрасных глаз хозяина или ради отвлеченной любви к труду и потому, столь же естественно, желает получить наибольший заработок при наименьшей затрате труда. Каждый думает о себе и каждый тянет в свою сторону. Это не порок и не добродетель, а один из видов борьбы за существование, борьбы, из которой победителем выходит сильнейший.

Условия социальной и экономической жизни, помимо воли работодателя и работника, устанавливают цену на труд: если никто не будет работать дешевле, скажем, рубля, то хозяин вынужден будет дать этот рубль, так как за предлагаемый им полтинник никого нанять нельзя; если никто из хозяев не дает больше полтинника, то рабочие, волей-неволей, примут эту плату, так как никто не нанимает за рубль. В этом нет материала для столкновений хозяев и рабочих. Столкновения эти наступают, когда те или другие начинают к противной стороне предъявлять требования, несообразные с экономическими и социальными условиями текущего дня и продиктованные личными вожделениями увеличить сразу свое благополучие на счет другой договорившейся стороны.

Во время оно работу делали рабы, в силу своего рабского положения, делали на тех же условиях, как ее делают вол, лошадь, машина. Времена эти отошли в вечность, и отжившее порабощение рабочих хозяином не может быть заменено порабощением хозяина рабочим. Это было бы несправедливо и фактически неосуществимо. Рабовладелец-хозяин обладал силою, которая могла заставить раба работать. Но у рабочих не может быть силы заставить хозяина продолжать свое производство. Если бы они получили такую силу, то присвоили бы себе и самое дело, на общинных началах, пока кто-либо из них, более умный и энергичный, не сделался бы хозяином, возвратив остальных в первобытное состояние рабочих.

Все эти азбучные истины, которые так легко себе усвоить, должны быть постоянно в памяти лица, решающегося писать о

взаимоотношениях хозяев и рабочих. Их бы не стоило и повторять, если бы Максим Горький добросовестно, без предвзятой мысли, относился к рабочему вопросу, даже если бы он давал картину хозяйского эксплуататорства. Но он, еле вылупившись из скорлупы неизвестности, торопится — точно забыть боится — бросить резкое и несправедливое обобщение о кровопийстве и грабительстве работодателей. При таких приемах разбираемого писателя приходится напоминать об общеизвестных истинах и настаивать на них.

Фраза, между прочим сказанная Емельяном Пиляем, обретенная им, не попала случайно под перо Максима Горького. Если бы это было так, он свою фразу вычеркнул бы, перечитывая повесть, и она не увидела бы света. С точки зрения художественной, она не нужна повествованию и только портит его. Но для проповеди, строго обдуманной заблаговременно, для пропаганды разрушительных основ, фраза эта безусловно необходима.

Емельян Пиляй с презрением говорит о заработке в 60 коп. в сутки. Зарботок, действительно, не слишком роскошный, но больше-то за что дать? Если виртуоз, зарабатывавший тысячи на концертах, вынужден с голоду принять 10 рублей за исполнение обязанностей тапера, если мастер-техник в годину безработицы принужден вместо получения 200 рублей в месяц жалованья идти в рабочие за 25 рублей, — они могут сетовать на злую судьбу. Но Пиляй-то почему стоит дороже шести гривен в день? Автор нигде не дает нам увидеть, что Пиляй умеет какую-нибудь работу делать особенно хорошо. Он — просто физическая сила, да и не очень большая, истомленная шатанием и безработицей. А так как он с отвращением приступает к работе, то сила эта и еще менее ценна.

Какие же идеалы такого Емельяна Пиляя? А вот они.

— Эх, брат, коли бы теперь тысячу рублей море мне швырнуло — бац! Сейчас открыл бы кабак; тебя в приказчики, сам устроил бы под стойкой постель и прямо из бочонка в рот себе трубку провел. Чуть захотелось испить от источника веселия и радости, сейчас я тебе команду: Максим, отверни кран! — и... буль-буль-буль... прямо в горло! Глотай, Емеля! Хо-о-рошее дело, бес меня удави! А мужика бы этого, черноземного барина — ух ты!., грабь... дери шкуру!... выворачивай наизнанку. Придет опохмеляться — «Емельян Павлыч, будь милосерд!» — Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам. Ха-ха-ха! Я бы его, черта тугопузого, пронзил!

— Ну, что уж ты так жестоко! Смотри-ка, — вот он голодает, мужик-то.

— Как-с? Голодает?.. Хорошо-с! Правильно-с! А я не голодаю? Я, братец ты мой, со дня моего рождения голодаю, а этого в законе не писано. Нда-с! Он голодает... Почему? Неурожай? Сомнительно. У него сначала в

башке неурожай, а потом уже на поле, вот что! Почему в других прочих империях неурожая нет?! Потому, что там у людей головы не затем приделаны, чтоб можно было в затылке скрести; там думают, — вот что-с? Там, брат ты мой, дождь можно отложить до завтра, коли он сегодня не нужен, и солнце можно на задний план отодвинуть, коли оно слишком усердствует. А у нас какие свои меры есть? Никаких мер, братец ты мой... Нет! это что! Это все шутки. А вот кабы действительно тысячу рублей и кабак, это бы дело серьезное...

Таким речам автор едва ли может симпатизировать. Он даже особенно резко и не совсем естественно оттеняет их, не жалея темных тонов. Вот, мол, вам Емельян Пиляй во всей его печальной наготе, с его вожделениями. Читатель, хотя и чувствует утрировку, но начинает мириться с писателем и говорит себе: «что же, он воспроизводит несимпатичное явление, но воспроизводит его объективно». Выходка Емельяна против мужика, «черноземного барина», против своего же, но честного и добросовестного брата, проходит незаметной, но когда вы вчитаетесь в произведения Максима Горького, то увидите, что поход на оседлого мужика не входит в босяцкий катехизис. Мы уже указывали на это и нам еще придется на это указывать не раз. Ныне настаиваем на этом в той цели, чтобы подтвердить и укрепить в сознании читателя, что М. Горький действует не под влиянием вдохновения, а во исполнение обдуманного плана проповеди, хотя он не чужд и вдохновению в некоторых лучших своих произведениях, о которых скажем в свое время.

— Было это, братец ты мой, в Полтаве... — начал Пиляй, — лет восемь тому назад. Жил я в приказчиках у одного купца, лесом он торговал. Жил с год ничего себе, гладко; потом вдруг запис, пропил рублей шестьдесят хозяйских. Судили меня за это, законопатили в арестантские роты на три месяца и прочее такое — по положению. Вышел я, отсидев срок, — куда теперь? В городе знают: в другой перебраться не с чем и не в чем. Пошел к одному знакомому темному человечку; кабак он держал и воровские дела завершал, укрывая разных молодчиков и их делишки. Малый хорошей души, честнейший на диво и с умной головой. Книжник был большой, многое множество читал и имел очень большое понятие о жизни. Так я, значит, к нему: а ну, мол, Павел Петров, вызволи! — Ну, что ж, говорит, можно! Человек человеку, коли они одной масти, помогать должен. Живи, пей, ешь, присматривайся. — Умная башка, братец ты мой, этот Павел Петров! Я к нему имел большое уважение и он меня тоже очень любил. Бывало, днем сидит он за стойкой и читает книгу о французских разбойниках., у него все книги были о разбойниках; слушаешь, слушаешь... дивные ребята были, дивные дела делали — и непременно проваливались с треском. Уж, кажется, голова и руки — ах, ты мне! а в конце книги вдруг — под суд — цап! и баста! все прахом пошло.

Сию я у Павла Петрова месяц и другой, слушаю его чтение и разные разговоры. И смотрю — ходят темные молодчики, носят светлые вещички: часики, браслеты и прочее такое, и вижу — толку на грош нет во всех их операциях. Слямзпт вещь, — Павел Петров даст за нее половину цены, — он, брат, честно платил, — сейчас гей! давай!.. Пир, шик, крик — и ничего не осталось! Плевое дело, братец ты мой! То один попадет под суд, то другой угодит туда же...

Из-за каких таких важных причин? По подозрению в краже со взломом, причем украдено на сто рублей! — Сто рублей! Разве человеческая жизнь сто рублей стоит? — Дубье!.. Вот я и говорю Павлу Петрову:

— Все это, Павел Петров, глупо и не заслуживает приложения рук. — «Г-м! как тебе сказать?» — говорит. «С одной, — говорит, — стороны — курочка по зернышку клюет, а с другой — действительно во всех делах уважения к себе самому нет; вот в чем суть. Разве, говорит, человек, понимающий себе цену, позволит свою руку пачкать кражею двугривенного со взломом?! Ни в каком разе! Теперь, говорит, хоть бы я, человек, прикосновенный моим умом к образованию Европы, и продам себя за сто рублей!» И начинает он мне показывать на примерах, как должен поступать понимающий себя человек. Долго мы говорили в таком роде. Потом я говорю ему: — Давно, мол, у меня, Павел Петров, есть в мыслях попытать счастья в этой дороге, и вот, мол, вы человек опытный в жизни, помогите мне советом, как, значит, и что. — «Г-м! — говорит, — это можно! А не оборудовать ли тебе какое ни то дельце на свой риск и по своему расчету, без помочей? Так, например... Обаимов-то, — говорит, — с лесного двора через Ворсклу в единственном числе на беговых возвращается; а, как тебе известно, при нем всегда есть деньжонки, да и на лесном от приказчика он получает выручку. Выручка недельная; в день торгуют они на три сотни и больше. Что ты можешь на это сказать?» — Я задумался. Обаимов — тот самый купец, у которого я служил в приказчиках. Дело — дважды хорошее: и отместка ему за поступок со мной, и смачный кусок урвать можно. — Нужно обмозговать, — говорю. — «Не без этого», — отвечает Павел Петров.

Пиляй сел в засаду, захватив железный шкворень фунтов 12-ти весу, и ждал Обаимова. Вместо Обаимова от города показала женская фигура.

...Идет к мосту прямо и вдруг как крикнет: «Милый, за что?!» Ну, брат, и крикнула! — Я так и вздрогнул. Что за притча? — думаю. А она прямо прет на меня. Лежу, прижался к земле, дрожу весь... куда моя злоба девалась! Вот-вот налезет, ногой наступит сейчас. А она опять как завопит: «За что?! За что?!» И бух наземь, как стояла, почти рядом со мной. И заревела она тут, братец ты мой, так что я и сказать тебе не могу, — сердце рвалось, слушаая. Лежу, однако, ни гугу. А она ревет. Тоска меня взяла. Бегу, думаю себе, прочь. А тут месяц вышел из тучи, да таково ясно и светло, просто страх. Приподнялся я на локоть и глянул на нее.. И тут, брат, все и пошло прахом, все мои планы и полетели к чертям! Смотрю — так сердце и екнуло: ма-аленькая девчоночка, дите совсем... беленькая,

кудряшки на щеках, глазенки большие такие — смотрят так... и плечики дрожат-дрожат... а из глаз-то слезы крупну-щие одна за другой так и бегут, и бегут.

Жалость меня, брат ты мой, забрала. Вот я, значит, и давай кашлять: кхе! кхе! кхе! — Как она крикнет: «Кто это? Кто? Кто тут?!..» Испугалась, значит... Ну, я сейчас тово... на ноги встал и говорю: это, мол я. — «Кто вы?» — говорит. А глаза-то у самой во какие сделались и вся так, как ступень, дрожит. «Кто вы?» — говорит.

Кто я-то, мол? Вы прежде всего не бойтесь меня, барышня, — я вам худа не сделаю. Я — так себе человек, из босой команды, мол, я. Да. Соврал, значит, ей; не говорить же ведь, чудак ты, что я, мол, купца убить залег тут! А она мне в ответ: «Все, говорит, мне равно, я топиться пришла сюда». И так это она сказала, что меня аж озноб взял — серьезно уж очень, братец ты мой. Ну, что тут делать?

Емельян сокрушенно развел руками и смотрел на меня, широко и добродушно улыбаясь.

— И вдруг тут, братец ты мой, заговорил я. О чем заговорил, — не знаю; но так заговорил, что аж сам себя заслушался; больше все насчет того. что она молодая и такая красавица. А что она красавица, так это уж так, то есть — красавица. Эх ты, брат ты мой! Ну, уж! А звали Лизой. Так вот я, значит, и говорю, а что — кто его знает — что? Сердце говорило. Да! А она все смотрит, серьезно так и пристально, и вдруг как улыбнется!... — заорал Емельян на всю степь со слезами в голосе и на глазах и потрясая в воздухе сжатыми кулаками.

— Как улыбнулась, так я и растаял; хлоп перед ней на колени: барышня, говорю, барышня!.. и все тут! А она, братец ты мой, взяла меня за голову руками, глядит мне в лицо и улыбается, как на картине; шевелит губами — сказать хочет что-то; а потом осилилась и говорит: «Милый вы мой, вы тоже несчастный, как и я! Да? Скажите, хороший мой!» — Н-да, друг ты мой, вот оно что! Да не все еще, а и поцеловала она меня тут в лоб, брат... вот как! Чуешь? Ей-Богу! Эх ты, голубы! Знаешь, лучше этого у меня в жизни-то за все 47 лет ничего не было! А?! То-то! А зачем я пошел? Эх ты, жизнь!..

Он замолчал, кинув голову на руки. Подавленный страстностью рассказа, я молчал и смотрел на море, чудно колыхавшееся и похужее на чью-то громадную грудь, ровно и глубоко дышавшую в крепком сне.

— Ну, потом она встает и говорит мне: «Проводите меня домой». Пошли мы. Я иду — ног под собой не чую, а она мне все рассказывает, как и что. Понимаешь ты, она одна дочь была у родителей, купцы же они были, — ну, и того, значит, балованная; а потом тут студент приехал, и стал, значит, ее там учить, и влюбились они друг в друга. Он потом уехал, а она стала его ждать — как, дескать, кончит там свою науку, чтобы приехать венчаться; уговор у них такой был. А он не приехал, а послал ей письмо: дескать, ты мне не пара. Девке, конечно, обидно. Вот она было и того, значит. Ну, рассказывает она это мне, и дошли мы таким манером с ней до дома, где она жила... «Ну, говорит, голубчик, прощайте. Завтра я, говорит, уеду отсюда. Вам денег, может быть, надо? Скажите, не стесняй-

тесь». Нет, говорю, барышня, не надо, спасибо вам! «Ну, добрый вы мой, не стесняйтесь, скажите, возьмите!» — пристаёт она. А я такой оборванный был, однако говорю: не надо, барышня. Знаешь, брат, как-то не до того было, не до денег. Простились мы с ней. Она так ласково говорит: «Никогда-де я не забуду тебя; совсем, дескать, ты чужой человек, а такой мне...» Ну, это наплевать, — оборвал Емельян, снова принимаясь закуривать.

Павел Петров, узнав о выходке Пиляя, прогнал его от себя. Иак, Пиляй способен на самые возвышенные ощущения. Восприимчивая читательница, наверное, поплачет над лучом чистой любви, загоревшимся в сердце босяка. Многие не заметят бутафорской стороны дела и примут бутафорию за чистую монету. Между тем поступок Пиляя и его чувство ровно ничего не обозначают. Как бы низко ни пал человек, он свойств человеческих никогда не лишается вполне. Это все знают. Противопоставление грязной внешности кровавых намерений с возвышенным порывом — это старая и выгодная для впечатления штука, но она сама должна появляться в повествовании, а не быть притянутой за волосы. Когда у Пушкина озлобленный кузнец запирает безжалостно приказных в подоженном доме Дубровского, а потом с опасностью для жизни спасает с горячей крыши кошку, то этот антитез родится у поэта сам собой и сразу берет читателя за сердце. Солдат Платон Каратаев в «Войне и мире» представляет удивительное сочетание грязной, неприглядной внешности с необычайной высотой христианского духа и просится тоже сам собою в душу читателя.

Не то история Пиляя. Поставленная на скорую руку сцена тронет падкого до мелодрамы читателя и ничего не скажет читателю вдумчивому. Но Горький партию выиграл. Сочувствие большинства Пиляю приобретено, а это только и нужно: под этим соусом дан публике первый прием ядовитого учения о кровопийстве работодателей и о ненависти босяка к оседлому крестьянину.

IV

Первые рассказы М. Горького, о которых мы только что говорили, как видно и из изложения нашего, представляют в художественном отношении вещи совершенно слабые и невыдержанные.

Талант М. Горького сказался определенно в рассказе «Челкаш», написанном в 1894—1895 годах. Фигура этого босяка

наименее антипатичная в горьковской босяцкой галерее, имеет и стиль, и силу.

Описав утреннюю страду большого приморского порта, Горький в полуденный обеденный перерыв выводит на сцену своего героя.

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по всей гавани шумными группами, покупая себе у торговков разную снедь и усаживаясь обедать тут же на мостовой, в тенистых уголках, среди них появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду, как заядлый пьяница и ловкий смелый вор. Он был бос, в старых вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубаше с разорванным воротом, открывавшим его подвижные, сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По включенным черным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, рваных и резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством со степным ястребом своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лет той хищной птицы, которую он напоминал.

Рассказ о Челкаше заключается в следующем: надо два пропавшие из груза тюка кружев получить от воров и контрабандно ночью передать грекам на баржу. Услуга эта оплачивается в 500 рублей. Работу сделать одному нельзя, нужен помощник, а постоянный сотрудник Челкаша по воровским делам, Мишка, повредил себе ногу и лежит в больнице. Челкаш наталкивается в порту на крестьянского деревенского парня Гаврилу. Гаврила возвращается после неудачного отхожего промысла на косовицу, домой. Челкаш ведет его в трактир, поит, кормит и нанимает его гребцом, уверяя, что едет на рыбную ловлю. Только в море парень узнает, что его позвали на неладное дело. Челкаш гипнотизирует его своей энергией, и Гаврила, близкий к смерти от страха, исполняет свою обязанность. Челкаш взял его не одним страхом, не одним превосходством силы воли. Челкаш говорил с ним о деревне, вошел в его желание улучшить свое крестьянское положение, взять в дом жену, а не идти в чужую семью в зятя, как по обстоятельствам приходится Гавриле.

Среди всех страхов товарищи выполнили поручение, одержали победу над препятствиями. Челкаш получил 540 рублей. Спокойные они едут в лодке. Гаврила узнает об огромном вознаграждении. Челкаш дает ему 40 рублей, но Гавриле хочется больше. Он впадает в трепет вожделения. Челкаш пропьет эти деньги, а он, Гаврила, пустил бы их в дело.

— Гульнем мы с тобой, парнюга! — с восхищением вскрикнул Челкаш. — Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделю... Сорок отделю! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

— Коли... не обидно тебе... что же? Я приму!

Гаврила весь трепетал от ожидания и еще от чего-то острого и сосавшего ему грудь.

— Ха-ха-ха!.. Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько красных бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурился и шумно втягивая в себя воздух, точно он пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

— А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин... — задумчиво сказал Челкаш.

— Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. — воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лету хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

— Приехали! — прервал, наконец, Челкаш речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

— Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой — прощай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься? а?

На лице Челкаша все сияла добродушно-хитрая улыбка и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

— Нет... я... не пойду... я... — Гаврила задыхался и давился чем-то. В нем бурлила целая тьма желаний, слов, чувств, взаимно поглощавших друг друга и паливших его, как огнем.

Челкаш посмотрел на него, недоумевая.

— Что это тебя корчит? — спросил он.

— Так это... — Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрывааемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу сделалось не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться, смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

— Ну ты к черту! — махнул рукой Челкаш. — Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка!... Али расставание со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

— Уходишь!? — звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался со своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и протительным шепотом Гаврилы:

— Голубчик!.. Дай ты мне... эти деньги! Дай, Христа ради!.. Что они тебе?.. Ведь в одну ночь... только в ночь.. А мне — года нужны... Дай... молиться за тебя буду! Вечно... в трех церквах... о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы в землю... Эх, дай мне их! Ведь что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна... и богат! Сделай доброе дело! Пропавший ведь ты... Нет тебе пути... А я бы... ох, дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад, и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу радужные бумажки.

— На! Жри... — крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я... вспомнил деревню... Подумал: дай, помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, поприсишь — нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так... истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя-то продаете!.. а?..

— Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. тысячи!.. я теперь... богач, — визжал Гаврила в восторге, весь вздрагивая и пряча деньги за пазуху. — Эх ты, милый!.. Вовек не забуду... Никогда!.. И жене, и детям закажу... молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он — вор, гуляка, оторванный от всего родного — никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободой и удали, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

— Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила все изливался.

— Ведь я что думал? Едем мы сюда... я деньги... видел... думаю... хвачу я его... тебя веслом... рраз... денежки себе, его в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться — как, да кто его это... убил-то! Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный он на земле! Кому за него встать?

— Дай сюда деньги!.. — рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло.

Гаврила рванулся раз, два... другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... треск разрываемой рубахи, — и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух, и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно и никогда он не был так озлоблен.

— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь, по направлению к городу. Но он не сделал двух шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, стал на одно колено и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

— Рраз!

Челкаш крикнул, схватился руками за затылок, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок.

Гаврила бежал от сраженного Челкаша, но скоро вернулся и стал приводить его в чувство, перепачкав руки в крови, лившей из затылка Челкаша.

— Брат, встань-кось! — шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

— Поди... прочь!

— Брат! Прости!.. дьявол это меня... — дрожа, шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

— Иди... Ступай... — хрипел тот.

— Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

— Про... уйди ты!.. Уйди к дьяволу! — вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. — Чего тебе... еще? Сделал... свое дело... и иди! Пошел! — и он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог, и снова свалился бы, если б Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

— Тьфу! — плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

— Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

— Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. — презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. — Деньги взял? — сквозь зубы процедил он.

— Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!..

Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

— Возьми и ступай!

— Не возьму, брат... Не могу! Прости!

— Бери, говорю!.. — взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

— Прости!.. Тогда возьму... — робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.

— Врешь, возьмешь, гнус! — уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

— Бери! бери! Не даром работал, чай! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери! Никто ничего не узнает о твоём деле, а награды оно стоит. Ну, вот!..

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

— Брат! а простишь меня? Не хощь? а? — слезливо спросил он.

— Родимый!.. — в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь. — За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

— Эх, брат, брат! — скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на голове, по-немногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, и волны бились о берег теперь уже бешено и гневно.

Два человека помолчали.

— Ну, прощай! — насмешливо и холодно сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

— Прости, брат!... — еще раз попросил Гаврила.

— Ничего! — холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Гаврила деньги взял, и товарищи разошлись в противоположные стороны.

Приведенная нами сцена написана мастерски, с чувством меры, с правильным нарастанием трагизма. Волнение, все более овладевающее Гаврилой, волнение, которым он уже не может более управлять и которое несет его, как волна, к поступкам, лишь наполовину сознательным, начертана превосходно. Волнение это передается и Челкашу, ведя его к противоположным, по сравнению с Гаврилою, результатам.

Беспристрастие требует признать все это с точки зрения художественной, но с точки зрения идейной Челкаш есть продолжение все той же проповеди исповедания Максима Горького. Симпатии автора, несмотря на все старание оставаться объективным, не на стороне Гаврилы, а на стороне Челкаша. Душа

человеческая ярче проявляется в этом босяке, пьянице, воре, чем в том степенном и домовитом, узком в понятиях деревенском парне.

Челкаш тоже знал иную жизнь. Он тоже крестьянин из домовитой семьи, он был гвардейским солдатом, был женат, но что-то выбросило его «из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах». Челкаш вспоминает о прошлом, и автор по поводу этих воспоминаний говорит: «Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда»...

Напыщенная фраза эта при всей своей вздутой запутанности, чрезвычайно характерна. Прошлое, честное, истовое, обычное крестьянское прошлое Челкаша считается автором за яд, его привязанности — за камни.

Челкаш смеется над свободой, как ее понимает Гаврила, считающий материальную относительную независимость за свободу. Для Челкаша свобода иное. Получив внезапно большие деньги, Челкаш говорит: «Гульнем»; Гаврила же на деньги хочет купить скудное, а для него, бедняка, связанного с землей, чрезвычайное благополучие.

Взгляд Гаврилы узок, но он чисто русский, чисто крестьянский; он вытекает из прочных основ жизни, из тесной связи человека с землей, на чем только и зиждется все здание гражданственности и общественности, что оно оберегает государство от потрясений, народ от безумных увлечений и выходов.

Взгляд Челкаша есть взгляд бесшабашного революционера. Он не знает ни своего угла, ни своих близких. Сегодня босой, завтра обутый; сегодня голодный, завтра пьяный и сытый; бьющий и битый попеременно, он перешел те грани, которые общественный строй положил хаосу разнузданных похотей и личного произвола отдельных лиц. Челкаш горд своим положением, своей своеобразной босяцкой силой, которой ничего не страшно.

Автор уверяет, что у Челкаша был порыв помочь Гавриле, но ведь под влиянием воспоминаний о том, что тот же автор называет ядом.

Автор уверяет, что у Челкаша в известный момент все чувства слились в одно «нечто отеческое и хозяйственное» по отношению к Гавриле, но, как раз перед этим, говоря об этих же чувствах Челкаша, автор так живописал их: «Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы (мысли эти приходят Челкашу во время ночной экспедиции). Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так, и этак.

Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки, чувствуя себя господином другого, он наслаждался»...

Вот в этих последних словах и вся сущность дела. Босяк желает быть господином другого, властвовать над другим. Это тоже один из догматов босяцкого катехизиса, — догмат, которого не следует забывать, если желаешь понять вредное учение Горького. Он нахально, гордо не скрывает, что каждый босяк носит в себе общественного тирана, что в каждом босяке живет кабацкий Марат или Робеспьер.

Между тремя первыми рассказами Горького и «Челкашем» целая пропасть в художественном отношении, и в смысле воздействия при проведении своих начал. В первых рассказах все слишком шито белыми нитками, а тут все заключено в хорошую форму. Тем ядовитее этот рассказ и тем будут ядовитее последующие, еще лучшие в художественном отношении. Проповедь растет и усиливается по мере того, как автор становится опытнее в литературе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Лучшие произведения Горького. — Почему у Горького нет вполне художественных сочинений?

I

В настоящем исследовании главным предметом является выяснение значения произведений Максима Горького в жизни русского общества. Для целей наших меньшую важность представляет разбор сочинений Горького со стороны чисто художественной. Таких разборов и без нашего — множество. Они составили целую литературу, преимущественно неумеренно хвалебного тона.

Тем не менее, нельзя пройти молчанием и художественной стороны творчества певца босяков, ибо иначе и самое мнение наше о Горьком могло бы показаться односторонним и лицеприятным.

Горький не всегда ровен. У него рядом с произведениями, носящими печать несомненного таланта, стоят другие, неуклюже картонные, искривленные, придуманные, и притом плохо придуманные. Иногда он выходит из облюбованной им босяцкой среды и пускается либо в туманную фантастику, с напускной философичностью, либо в описание жизни, им недостаточно наблюдавшейся.

Произведениями наиболее художественными следует признать такие, как «Коновалов», «Супруги Орловы» (рассказы, о которых мы уже говорили), «Мальва», «На плотях», «Ярмарка в Голтве», «Васька Красный». К неудачным потугам создать нечто особенно поэтическое следует отнести рассказы «Старуха Изергиль», «Хан и его сын», «Макар Чудра». Фантастично псевдофилософскими рассказами называем такие, как «О черте», «Еще о черте», тягучие, неудобочитаемые, почти нестерпимые. Повесть «Варенька Олесова» подходит под рубрику рассказов из жизни, мало знакомой Горькому или мало им исследованной.

При разной степени художественного достоинства, все произведения Горького носят на себе следы одних и тех же достоинств и недостатков, и разве одна «Ярмарка в Голтве» стоит особняком как живая картина действительности, прогретая южным солнцем.

Для пояснения мысли нашей о достоинствах и недостатках творчества Максима Горького следовало бы привести здесь какой-либо из его рассказов целиком, но рассказы эти, за исключением одного, слишком для этой цели длинны. Приходится на этом и остановиться. Рассказ этот, под заглавием «Вывод», написан в 1896 году. Вот этот рассказ:

По деревенской улице, среди белых мазанок, с диким воем двигается странная процессия.

Идет толпа народа, идет густо и медленно, — движется, как большая волна, а впереди ее шагает лошаденка, юмористически шероховатая лошаденка, понуро опустившая голову. Поднимая одну из передних ног, она так странно встряхивает головой, точно хочет ткнуться шершавой мордой в пыль дороги, а когда она переставляет заднюю ногу, ее круп весь оседает к земле, и кажется, что она сейчас упадет.

К передку телеги прикручена веревкой за руку маленькая, совершенно нагая женщина, почти девочка. Она идет как-то странно — боком, ее голова, в густых растрепанных темнорусых волосах, поднята кверху и немного откинута назад, глаза широко открыты и смотрят куда-то вдаль тупым, бессмысленным взглядом, в котором нет ничего человеческого... Все тело ее в синих и багровых пятнах, круглых и продолговатых, левая упругая девическая грудь рассечена, и из нее сочится кровь... Она образовала пурпуровую полосу на животе и ниже по левой ноге до колена, а на голени ее скрывает коричневая короста пыли. Кажется, что с тела этой женщины содрана узкая и длинная полоса кожи, и, должно быть, по животу этой женщины долго били поленом, — он чудовищно вспух и весь страшно синий.

Ноги этой женщины, стройные и маленькие, еле ступают по пыли, весь корпус страшно изогнут и качается, и никак нельзя понять, почему

она еще держится на этих ногах, сплошь, как и все ее тело, покрытых синяками, почему она не падает на землю и, вися на руках, не волочится за телегой по пыльной и теплой земле...

А на телеге стоит высокий мужик в белой рубахе, в черной смушковой шапке, из-под которой, перерезывая ему лоб, свесилась прядь ярко-рыжих волос; в одной руке он держит вожжи, в другой — кнут и методически хлещет им раз по спине лошади и раз по телу маленькой женщины, и без того уже добитой до утраты человеческого образа. Глаза рыжего мужика налиты кровью и блещут злым торжеством. Волосы оттеняют их зеленоватый цвет. Засученные по локти рукава рубахи обнажили крепкие, мускулистые руки, густо поросшие рыжей шерстью; рот его открыт, полон острых белых зубов, и порой мужик хрипло вскрикивает:

— Ну-ну... ве-е-дьма! Гей! Н-ну! Ага! Раз!.. Так ли, братцы?..

А сзади телеги и женщины, привязанной к ней, валом валит толпа и тоже кричит, воет, свищет, смеется, улюлюкает... подзадоривает... Бегут мальчишки... Иногда один из них забегаеет вперед и кричит в лицо женщины циничные слова. Тогда взрыв смеха в толпе заглушает все остальные звуки и тонкий свист кнута в воздухе... Идут женщины с возбужденными лицами и сверкающими удовольствием глазами... Идут мужчины и кричат что-то отвратительное тому, кто стоит в телеге... Он оборачивается назад к ним и хохочет, широко раскрывая рот. Удар кнутом по телу женщины... Кнут, тонкий и длинный, обвивается около плеча и вот он захлестнулся под мышкой... Тогда мужик, который бьет, сильно дергает кнут к себе; женщина визгливо вскрикивает и, опрокидываясь назад, падает в пыль спиной... Многие из толпы подсакаивают к ней и скрывают ее собою, наклоняясь над нею.

Лошадь останавливается, но через минуту она снова идет, и вся избитая женщина по-прежнему двигается за телегой. И жалкая лошадь, медленно шагая, все мотает своей шершавой головой, точно хочет сказать:

— Вот как подло быть скотом! Во всякой мерзости могут заставить принять участие...

А небо, южное небо, совершенно чисто, — ни одной тучки, и с него летнее солнце щедро льет свои жгучие лучи...

.....

Это я написал не аллегорическое изображение гонения и истязания правды, — нет, к сожалению, это не аллегория. Это называется — вывод. Так наказывают мужья жен за измену; это бытовая картина, обычай, — и это я видел в 1891 году 15-го июля, в деревне Кандыбовке, Херсонской губернии.

Действительно, это бытовая картинка наказания неверных жен в Малороссии и Новороссии, — обычай и поныне не вполне искоренившийся. Обычай этот, как и многие другие первобытные проявления своеобразного правосудия и несложного общежительного уклада, ужасен для глаз развитого человека, с кругозором более широким, чем муж-палач и сочувствующая ему публика. Описание такого обычая, без внесения в него ав-

торских рассуждений и воздыханий, говорило бы само за себя. Максиму Горькому было недостаточно описать с беспощадным, но правдивым реализмом ужасную процессию. Ему понадобился конец, в котором он с горькой, искусственной, впрочем, иронией поясняет, что дает «не аллегорическое изображение гонения и истязания правды» (???), а бытовую картину. Он естественно описывает шаг лошаденки, описывает так мелко, подробно, что картинность описания исчезает, и читатель, чтоб усвоить себе предлагаемый автором образ заморенной лошади, должен делать усилия воображения и из данных автором ужасных моментов восстанавливать слитную общую картину. Приходится перечитывать десяток строк, посвященных в начале очерка лошади, а это расхолаживает впечатление: лошадь в картине — деталь, она не должна задерживать внимания, ее надо было описать так, чтобы она сразу бросилась, как живая, в глаза, сразу родила бы в уме читателя (а не в словах автора) сопоставление измученного животного и измученной женщины, и затем уже не мешала бы уму читателя и его сердцу заниматься тем, что в очерке самое важное — женщиной. Горький не только описал лошадь по суставам, точно не картину из жизни передает, а механизм движущейся игрушки излагает, он еще вложил в мысль лошади нравственную сентенцию, долженствующую изображать смех сквозь слезы. Лошадь — и та, казалось, осуждала жестокость людей. Очень трогательно. И тотчас же: «А небо, южное небо, совершенно чисто, — ни одной тучки» и т. д. Это называется антитезой, когда родится само собою под пером автора, и бутафорией, когда применяется так, как применено Горьким.

Искусственные эффекты и еще находятся в разбираемом очерке. Например, «коричневая короста пыли...» на голени у истязуемой женщины. Почему такое отталкивающее и ни с чем не сообразное сравнение? Кожа покрыта пылью, и не может быть похожа на кожу, болеющую чесоткой. Этого увидеть было нельзя, это только можно было придумать. Рядом с этим неудачным сравнением сумел же автор совершенно верно сравнить полосу крови, идущей от рассеченной груди по животу и ноге женщины, с содранной полосой кожи.

Иногда не только образа или сравнения достаточно, чтобы испортить картину, достаточно бывает одного слова. Описывая мальчишек, издевающихся над наказуемой, автор называет слова, которые они выкрикивают ей в лицо, «циничными». Эпитет вполне не у места. Русский мальчишка не понимает ни этого слова, ни его внутреннего смысла, а потому к его речам

такой эпитет не подходит. Он столь же странен в этом случае, как был бы странен модный цилиндр на голове обутого в онучи и лапти и одетого в зипун деревенского мужика. Дай Горький эпитет «скверные», «срамные» словам мальчишек, — и вся фраза выиграла бы, не пятнила бы картины, а оживляла ее. Ведь сумел же автор через несколько строк совершенно согласнo с обстоятельствами описываемого сказать: «Идут мужчины и кричат что-то отвратительное...»

Место и задачи, преследуемые нами в этом исследовании, лишают нас возможности разбирать так же, шаг за шагом, каждое произведение Горького. Если такой разбор посвящен очерку «Вывод», как наиболее короткому, то это сделано с тем, чтобы однажды и навсегда установить воззрение автора этих страниц на манеру Горького.

Это важно, конечно, не как субъективное суждение критика, а как ключ к пониманию Горького. Недостатки, выше указанные, происходят не от слабости писательского дарования. Они лежат в том, что Горький — не бытописатель, а проповедник. Он охотно жертвует художественной целостью создаваемого им образа, лишь бы провести свою идею. Если бы он писал не пером, а кистью, масляными красками, он был бы способен поставить безвкусные красные кресты над фигурами картины, лишь бы подчеркнуть, на что он желает обратить внимание читателя.

Какую же цель преследует Горький, например в том же «Выводе», этим своим подчеркиванием?

У всякого культурного человека обычай вывода может вызвать лишь ужас и негодование, по своей людоедской жестокости, но всякий разумный человек знает, что обычай этот лежит в темноте народа и в глазах его является не жестокостью, а правомерною справедливостью. Обычай бесчеловечен, но основание его вполне нравственно. Он стоит на страже супружеской верности, неприкосновенности семьи. Людоеды, которые по достижении родителями преклонного возраста, убивают и пожирают их, геродотовские гипербореи¹³, убивающие неработоспособных стариков, чукчи, донныне практикующие убийство престарелых родителей, по просьбе и желанию последних, — вовсе не жестоки сами по себе. Их заставляет так поступать своеобразное воззрение. Просвещенные светом христианского учения, те же чукчи сами собою отстают от ужасного, дикого, возмутительного для нашей души обычая.

Таков же обычай вывода. Борьба с ним, когда он сам все более и более выводится и сохраняется лишь кое-где, как пе-

режиток старины, можно не полицейскими мерами, не слезливыми описаниями, а просвещением. Оно и борется с такими обычаями, без крика и шума, мало-помалу и совершенно незаметно для гг. Горьких и иных печальников о темноте народной и о его горе.

Горький, в сочувствии к истязаемой, дает ей все симпатичные стороны, вплоть до ее уподобления гонимой «правде», и не желает видеть ничего, кроме зверей, в этом карающем муже, в этой улюлюкающей толпе. Едва ли это справедливо. Не для потехи проделывает муж казнь над женой. Надо быть затронутым в тайниках сердца, оскорбленным до беспредельности, чтобы решиться на совершение вывода. Послушать Горького — жена-изменница даже порицания не заслуживает, а муж-палач ничего, кроме порицания, не должен получить. Такое деление действующих лиц на овец и козлиц, без всякого оттенка, чуждо истинному художеству и пригодно лишь для тенденциозных сочинений, в которых и сюжет, и форма играют роль меньшую, чем поучение.

Таков Горький везде. В этом его ахиллесова пята. Какое же и на кого может иметь воздействие очерк «Вывод»? Муж неверной жены, способный подвергнуть ее выводу, не прочтет рассказа Горького, уж по одному тому, что он грамоты не знает. Если бы ему прочли этот рассказ, то он или бы не вслушался в него, или, вслушавшись, сказал бы: «Это тоже у нас бывает. А лошадей хороших где же взять, у нас лошади все плохие».

Такой муж-палач не изменит своих взглядов из-за кислых слов Горького.

Писано это для нас, читателей книг и журналов, но мы благодарны г. Горькому лишь за яркие места его бытовой картины, а его тенденциозные вздыхания нам не нужны. Нужны они лишь Горькому в общем плане его порицательной проповеди. Мужик-земледелец в исправлении своего дикого самосуда над виноватой, неверной женой вызывает ужас у Максима Горького, а босяк-сапожник Орлов, в пьяном виде вышибающий плод из чрева своей верной, преданной и прекрасной жены, вызывает лишь сочувствие, и автор устами Орлова уверяет его жену, что бьющему мужу больше в тысячу раз, чем тряпачей побои жене.

Значит, и тут осуждение основано не на ужасе к зверству, а на предвзятом загрязнении тех людей, которые, хотя и в образе зверином живут, но имеют правила, законы и обычаи.

II

Совершенно без тенденции написан рассказ Горького «Ярмарка в Голтве» (1897 год). Рассказ этот дает понять, чем мог бы быть автор, если бы не посвятил себя тенденциозной проповеди бо-сячества и разрушения.

Взяться описывать малороссийскую деревенскую ярмарку на берегах Пела, после гоголевской «Сорочинской ярмарки», — смело. Выйти удачно из этого испытания — делает писателю большую честь.

«Ярмарка в Голтве» не имеет романтической завязки. Это — ряд живых и ярких картин. С чисто внешней стороны автора можно упрекнуть лишь в том, что он вносит в рассказ много малороссийского говора, которым притом не владеет. Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» умело избегал этого и «Вечера» от этого нисколько не утратили своего малороссийского колорита. Второй упрек заключается в некоторой неотделанности слога и в употреблении при описании простых людей иностранных слов — «сконфуженно» и т. п. Выше мы уже объяснили, почему такой прием режет ухо.

С этою оговоркою «Ярмарка в Голтве» заслуживает внимания. Вот, например, одна из ярмарочных сценок. Хохол продает коня цыгану. Тот меняет лошадь на свою и просит несколько рублей доплаты.

— Подожди... — говорит хохол.

— Не хочу! — восклицает цыган. — Что мне ждать — хiba ж я с того, что подожду, гроши зароблю? Я тебе говорю прямо, как перед Богом, — моя лошадь такая, что и сам полтавский губернатор на ней поехал бы, куда хочешь, — хоть в Петербург! Вот на — какая моя лошадь! А что твоя? Только тем она на мою и похожа, что у нее тоже четыре ноги и хвост! А какой у нее хвост? Это стыд, дядько, стыд, а не хвост...

Цыган ожесточенно дергает лошадь за хвост, щупает ее всюду и руками, и глазами и все говорит, говорит. Его товарищи пренебрежительно советуют ему:

— Э, брось! Что тебе хочется в убыток меняться? Вот дурной!.. Брось...

— В убыток? Ну, и буду в убыток меняться? Разве ж я моему коню и карману не хозяин? Мне человек нравится, и я хочу человеку доброе сделать! Дядько! молитесь Господу!

Хохол снимает шапку, и они оба истово крестятся на церковь.

— Ну, Господи благослови! — восклицает цыган. — Берите ж моего коня и помните мое доброе сердце... Берите его и давайте мне пять карбованцев придачи... Вот и все!.. Кончено!.. Давайте руки...

Хохол из всей силы бьет ладонью по ладони цыгана и говорит:

— Два дам!

— Э! Четыре с половиной!

— Два!

Цыган так шлепнул по руке хохла, что тот потряс ею в воздухе и потом внимательно осмотрел свою ладонь, как бы удостовераясь — цела ли?

— Четыре ровно!

— Два! — упорно стоит на своем хохол.

— Ну, — утомленно говорит цыган, — идите же теперь к вашей жинке и расскажите ей, какой вы дурень...

— Два! — говорит хохол.

— Вот что — молитесь Богу!

Снова молятся и снова бьют руки друг друга.

— Ну, берите же на свое счастье, мне в убыток; не хочу я с вас, добрый человек, лишних грошей брать, коли нет их у вас в кармане... Даете три с полтиной?

— Ни, — качает головой хохол, оглядывая лошадь цыгана, понурую и шершавую.

— Три с четвертью?

— Ни...

— Чтoб ваша жинка сказала вам сто раз «ни», когда вы у нее борща попросите! Даете три гладких карбовонца? И то не даете? Так берите же за вашу цену... Э, пропали мои гроши и конь хороший.

«Хороший конь» оказался никуда не годной клячей, даже без верхних зубов. Хохол начинает протестовать. Несколько человек из толпы вступают за хохла, другие за цыгана, происходит общий гвалт. Цыган кричит:

— Э, добрый человек! чего ж ты затяв таку заваруху? Хиба ты не знаешь, як треба конів купувати? Конів купувати — як жінку вибирати, все одно, таке ж важно діло... Слухай, я тобі скажу відну казну... Як були на світі три братика, двое разумні, а третій дурень — ось як ты, або ж я...

Товарищи цыгана тоже орут во всю глотку, оправдывая его, хохлы лениво ругаются в ответ, толпа становится все гуще и теснее...

— Що ж міні зостається, добрі люди? — горестно вопрошает обиженный.

— Ходи до урядника! — кричат ему.

— А и пойду! — решает он.

— Стой, чоловіче! — останавливает его цыган. — Разорить меня хочешь? Разорь! Давай мне три карбовонца — я твою лошадь назад виддам! Желаешь? Давай два! Желаешь? Ну, иди и жалуйся...

Хохлу не особенно приятно тягать к делу урядника, и он задумывается. Со всех сторон ему дают советы, но он остается глух и нем, решая что-то про себя. Наконец решил...

— Ну, от що, — уныло говорит он цыгану, — нехай Бог тебя судит... Отдай міні моего коня, а два карбовонци, що ты в придачу узял — твои... Триста трясаців тобі у боці — грабь!

И цыган ограбил его с таким видом, точно великую милость ему оказал.

— Догадливі люди! — похваливали «чоловіки» цыган, отходя от них.

Это типично, полно юмора, верно действительности. Таких сцен целый ряд. Их приятно читать и перечитывать. Они колоритны, и колорит их чисто малороссийский.

А вот заключительная картина:

Вечереет. Солнце уже низко над лугами и пыль, тучей стоящая над ярмаркой, кажется розовой в лучах заката. Всюду гонят скотину на Псел, раздается мычание, суровые окрики, кое-где налаживаются песни. Веселые звуки сопилки несутся со стороны погоста. Там, у земляного вала, ограждающего ниву опочивших, собралась толпа хлопцев и, не обращая никакого внимания на «дiдовы могилы», собирается «танцювати» в виду их. Тополя на погосте качают вершинами, точно протестуя против нарушения мира и тишины в месте упокоения.

— А тепери я велика,
Треб-ба міні чоловіка... —

распевают двое пьяных, идя к погосту. Они толкают друг друга плечами и качаются на ногах, как надломленные. У обоих блаженные красные лица, оба они охрипли от усилий петь согласно: один сдвинул шапку на ухо, а другой держит ее в руке и дирижирует ею, не замечая, что из нее вылезли и болтаются в воздухе какие-то тряпки и куски пеньки. От погоста навстречу им несется дробный топот ног, с жаром выбивающих гопака, и задорные, хотя тихие звуки сопилки.

Тени от возов становятся все длиннее. Жара спадает. От лугов тянет запахом свежескошенного сена. Солнце село, и на небе задумчиво замерли легкие облака, еще розовые от заката. Шум понемногу стихает, люди, изморенные хлопотами и зноем дня, укладываются спать на воздухе и под возами. Тяжело дышат волы, пережевывая сено, фыркают лошади.

Теперь уже все звуки разрознены и ясно слышны, они и не сливаются в тот гул, что оглушал и опьянял в течение дня. Вот раздается торжественная музыка. Около слепого, играющего на фисгармонике, толпа молчаливых людей стоит без шапок и благоговейно слушает музыку.

— Господа сим восхва-а-лим и возблагодарим, Творца на-а-шего, — поет слепой, аккомпанируя себе на звучном инструменте. Густые и успокаивающие ноты печально вьются в воздухе, над головами молитвенно настроенных людей, покрытых потом и пылью. Иные шепчут что-то, — видно, как шевелятся их губы, — иные вздыхают... Большинство немо, неподвижно и глубоко серьезно.

А со стороны погоста несется удалая песня, исполняемая могучим хором молодых голосов: Гей-гей! — гремит припев.

Слышно, что эта песня складывалась в широкой степи верхом на конях, во время похода, старыми свободолюбивыми «лыцарями», проливающими свою бурную и горячую кровь «за віру христьянску, та вольності казачи»...

—Пойте славу Бога нашег-о-о... яко Он Творец мира и прибежище челове-е-ков, в Нем же обрящем упокоение... — поет и играет слепой.

Ночь идет.

Кое-где уже вспыхнули огоньки костров и вокруг них видны фигуры людей, красноватые в блеске огня. Приятной свежестью веет с лугов, где Псел, темный, красивый и быстрый, стремительно спешит к Днепру и с ним — в море. Вспыхивают звезды...

Ночь идет.

В этом очерке и описание природы не натянуто, не придумано, как во многих очерках Горького. Свидетельствуем по личному наблюдению для тех, кто не жывал в Малороссии, не бывал на ее деревенских ярмарках, кто не видал красивых берегов и светлых вод Пела с его изменчивым руслом, что описанию Горького в данном случае можно верить, как фотографии, а любоваться им можно, как произведением искусства.

И тем прискорбнее, что автор, умевший написать «Ярмарку в Голтве», оставил произведение это одиноким среди всех других своих произведений.

Ш

Говоря о лучших произведениях Горького, следует прежде всего упомянуть о прославленной «Мальве». Ее обрисовка говорит сама за себя, а понять значение этой повести можно вполне, лишь сопоставив ее с другой повестью — «На плотях».

Общее в обоих рассказах — соперничество отца и сына в отношениях к одной и той же женщине. И тут, и там сын остается ни при чем, и торжество любви принадлежит отцу.

В рассказе «На плотях» молодой муж Митрий не пожелал быть супругом своей жены. Он сам об этом рассказывает на плотях, которые они гонят, работнику Сергею, в то время, как здесь же его отец, богатырь-снохач, милуется с отвергнутой мужем Марькой.

— Ну, пришли мы спать, — рассказывает Митрий. — Я и говорю ей: не могу, мол, я мужевать с тобой, Марья. Ты девка здоровая, я человек больной, хилый. И совсем, мол, жениться не желал, а батюшка, мол, силком меня — женись, говорят, да и все! Я, мол, вашу сестру не люблю, а тебя больше всех. Бойка больно... Да... И ничего я этого не могу... понимаешь... Пакость одна, да грех... Дети тоже... За них ответ Богу дать надо...

— Пакость! — взвизгивает Сергей и громогласно хохочет. — Ну, и что ж она, Марько-то? а?

— Ну... Что же, говорит, мне делать теперь? Плачет сидит. Чем, говорит, я тебе не по сердцу? Али, говорит, я уродина какая? Бестыдница она, Серега!.. и злая. Что же, говорит, мне с моим здоровьем к свекру, что ли, идти? Я говорю: как хошь, мол... Куда хошь иди. Мне, мол, супротив души невозможно поступить... Любовь кабы была! А так — что же? Дедуш-

ка Иван говорил — смертный грех это дело. Скоты мы с тобой, что ли, мол? Плачет все. Загубили, говорит, мою девичью красоту. Жалко ее было мне. Ничего, мол, как-нибудь обойдется. А то, мол, в монастырь иди. Она ругаться: дурак ты, говорит, Митька, подлец...

— А, батюшки! — восхищенным шепотом шипит Сергей. — Так ты ей и отколол — в монастырь?

— Так и сказал! — просто говорит Митя.

— А она тебя — дураком? — повышает тон Сергей.

— Да... обругала.

— За дело, брат! А-ах, и за дело! Вздуть бы еще надо! — вдруг меняет тон Сергей. Теперь он говорит строго и внушительно.

— Разве ты можешь супротив закону идти? А ты — пошел! Установлено — ну, значит, и шабаш! Не моги спорить. А ты на-ко-ся! Эк выворотил корягу. В монастырь! Дурья голова! Ведь девке-то что надо? Али монастырь? Ну, и люди нынче! Ты подумай — что вышло? Сам ты ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-ре-ку, девуку погубил... полюбовницей стариковой стала — старика во грех снохаческий ввел. Сколько ты закона нарушил? Го-олова!

Когда на одном конце плотов идет такая беседа, на другом конце любящаяся чета кровосмесителей, отец Митрия, Силан Петров, и жена Митрия Марька работают рядом.

У одного из передних весел стоял Силан Петров, в широкой красной рубахе с расстегнутым воротом, обнажавшим его могучую шею и волосатую, прочную, как наковальня, грудь. Шапка сивых волос нависла ему на лоб, и из-под нее усмехались большие, горячие, карие глаза. По локоть засученные рукава рубахи обнажали жилистые руки, крепко державшие весло, и, немного подавшись корпусом вперед, Силан что-то зорко высматривал в густой тьме дали.

Марька стояла в трех шагах от него, к течению боком, и с улыбкою поглядывала на широкогрудую фигуру милого. Оба молчали, занятые наблюдением: он — за далью, она — за игрой его живого, бородатого лица.

— Костер рыбацкий, должно, — поворотился он к ней лицом. — Ничего. Держим прямо! О-х! — выдохнул он из себя целый столб горячего воздуха, ровно ударив веслом влево и мощно проводя им по воде.

— Не натужься больно-то, Машурка! — заметил он, видя, что и она делает тоже ловкое движение своим веслом.

Кругленькая, полная, с черными бойкими глазами и румянцем во всю щеку, босая, в одном мокром сарафане, приставшем к ее телу, она повернулась к Силану лицом и, ласково улыбаясь, сказала:

— Уж больно ты бережешь меня. Чай, я слава-те Господи!

— Целую, — не берегу! — передернул плечами Силан.

— И не след! — вызывающе прощентала она.

Они замолчали, оглядывая друг друга жадными взглядами.

Под плотами задумчиво журчала вода. Справа, далеко где-то, запели птухи.

Чуть заметно колыхаясь под ногами, плоты плыли вперед, туда, где тьма уже редела и таяла, а облака принимали более резкие очертания и светлые оттенки.

— Силан Петрович! Знаешь, чего они там визжали? Я знаю, право слово, знаю. Это Митрий жалился на нас Сережке, да и проскулил так-то жалобно с тоски, а Сережка-то и ругнул нас.

Марья пытливо уставилась в лицо Силана, теперь, после ее слов — суровое и холодно упрямое.

— Ну, так что? — коротко спросил он.

— Так, мол. Ничего.

— А коли ничего, так и говорить нечего.

— Да ты не серчай!

— На тебя-то? И рад бы иной раз, да не в силу.

— Любишь Машку? — шаловливо прошептала она, наклоняясь к нему.

— Э-эх! — выразительно крикнул Силан и, протянув к ней свои сильные руки, сквозь зубы сказал:

— Иди, то ли... Не задорь...

Она изогнулась, как кошка, и мягко прильнула к нему.

— Опять собьем плоты-то! — шептал он, целуя ее лицо, горевшее под его губами.

Силан не боится, что увидят. И так все знают. Не людей он боится, а грех его гнетет. Так все просто можно было устроить: не женить Митрия, и самому жениться на Марье. Теперь Силан готов идти с Марьей на Кубань или в Сибирь и там начать новую жизнь, выдавая среди незнакомых людей Марью за жену.

Автор, по возможности, объективен в рассказе «На плотях». Он описывает одинаково старательно как сильного телом отца, так и хилого сына, как расцвет физической страсти Силана, так и духовные мечтания о монастыре Митрия. Вся эта интимная драма окружена прекрасной картиной природы. И если не автор становится открыто за Силана, то за старого крепыша говорит эта река ночью и на утренней заре, вся обвеянная пробудившейся весенней жизнью, полной вздохов и вождедений любви.

В конце концов нельзя сомневаться в том, кто истинный герой Максима Горького. Разумеется, Силан. Автор своим рассказом воспел целый гимн свободной любви, но художник в этом очерке взял верх над проповедником. Защита свободной любви не бьет в глаза, как, например, в других рассказах, апофеоз бо-сячества. Она вытекает сама собою из данных автором картин.

Прочтя лишь один рассказ «На плотях» и не сопоставляя его с другими очерками Горького, можно сделать вывод только о талантливости автора. Но в общей цепи его произведений и этот рассказ составляет отдельное звено, правда, не покрытое бросающимся в глаза лаком крикливой и назойливой проповеди горьковских идей.

Для обличения истинного значения Горького рассказ «На плотях» непригоден, но для полноты картины о нем нельзя промолчать, и в целях беспристрастной оценки этого писателя, и для показания того, как он намеренно и сознательно погубил свой немалый талант, растратив его на цели, чуждые искусству.

IV

«Мальва» (1897 г.) едва ли не самое цельное и яркое из всех произведений Максима Горького. В рассказе этом собраны все достоинства и все недостатки писателя. Тут и красивые картины природы, и женский тип, резко и широко очерченный; тут и та разнузданность речи, которая удерживает от желания привести то или другое место повествования; тут снова и снова жизнерадостный босяк, в качестве противопоставления оседлому крестьянину, тесно связанному с землей и от земли не отстающему даже после пятилетнего пребывания в чужой стороне на отхожих промыслах.

История эта имеет духовное родство с рассказом «На плотях». Точно так же соперничество отца с сыном из-за одной женщины. Точно так же (и по странному стечению мыслей автора носящий в обоих рассказах одно и то же имя) жизнерадостный, разудалый, без кола и двора, судья взаимных отношений отца, сына и стоящей между ними женщины — Сергей. Но отец (Василий) в «Мальве» не имеет мощи Силана, отца в повести «На плотях», а жизнеспособный и жаждущий жизни Яков (сын), увлеченный Мальвой, не имеет ни идеальных стремлений, ни мечтательности, ни аскетического склада Митрия, уступившего жену отцу.

Сама Мальва, центральная фигура повести, носящей ее имя, — босяцкая Кармен. Пока из нее не сделали оперной героини, как из типа, созданного Проспером Мериме, Мальва в своей первобытной простоте носит в себе не менее дьявольского задора, способного сводить с ума мужчин, как и испанская работница на сигарной фабрике. Мальва и Кармен — родные сестры. Обе любят только силу и только ей поклоняются. Обе способны довести до полного одурманивания мужчину своим кокетством и своими ласками, и обе способны выкинуть его, как выжатый лимон, по капризу, случайно, «так».

Эта повесть Максима Горького пользуется едва ли не наибольшей популярностью, и приводить шаг за шагом ее содержание нет нужды. Начинается она описанием моря, довольно

удачным, но чересчур уже превознесенным поклонниками Горького.

Море смеялось.

Под легким дуновением знойного ветра оно вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряных улыбок. В глубоком пространстве между морем и небом носился веселый и шумный плеск волн, взбегавших одна за другою на пологий берег песчаной косы. Этот звук и блеск солнца, тысячекратно отраженного рябью моря, гармонично сливались в непрерывное движение, полное живой радости. Солнце было счастливо тем, что светило; море — тем, что отражало его ликующий свет.

Ветер ласково гладил мощную, атласную грудь моря, солнце грело ее своими горячими лучами и море, дремотно вздыхая под нежной силой этих ласк, насыщало жаркий воздух соленым ароматом своих испарений. Зеленоватые волны, избегая на желтый песок, сбрасывали на него белую пену своих пышных грив; она с тихим звуком таяла на горячем песке, увлажняя его.

Здесь обычная неровность Горького. Описание много бы выиграло без первой строчки. «Море смеялось». Это столь же придуманно, как и «солнце было счастливо тем, что светило», и т. д. Это не образы, родившиеся в вольном вдохновении поэта, это — повторение читанного у других, и довольно неудачное. И рядом с последней фразой от слов «Ветер ласково...» и до конца нашей цитаты, все описание полно непринужденной поэзии, почему и создает в глазах читателей живую, долго не забывающуюся картину. Отсутствие настоящего художественного чутья заставило Горького не обратить внимание на то, как в его описании слова «гармонично» и «аромат» режут ухо. А их так легко и так красиво было заменить словами «созвучно» и «благоухание».

Прищуривая глаза от яркой игры солнечных лучей на волнах, он довольно улыбался: — это едет Мальва. Она приедет, захохочет так, что у нее грудь станет соблазнительно колыхаться, обнимет его сильными, но мягкими руками, расцелует и звонко, вспугивая чаек, заговорит о новостях там, на берегу. Они с ней сварят хорошую уху, выпьют водки, поваляются на песке, разговаривая и любовно балуясь, потом, когда стемнеет, они вскипятят чайник чая, напьются со вкусными баранками и лягут спать... Так бывает каждое воскресенье, каждый праздник на неделе. Рано утром он повезет ее на берег по сонному еще морю в предрасветном свежем сумраке. Она, дремля, будет сидеть на корме, он грести и смотреть на нее. Смешная она бывает в то время, смешная и милая, как сытая кошка. Может быть, она соскользнет с лавочки на дно лодки и уснет там, свернувшись в клубок. Она часто делает так...

Мальва приехала, но не одна. Она привезла с промыслов сына Василия — Якова, который от бескормицы в деревне пошел пытаться счастье туда, где отец работает не первый год.

Незванным гостем попал Яков к отцу. Он сразу понял роль Мальвы, да и отец не стал таиться. Мальву забавляет неловкое положение любовника и его сына, она «озорует», по выражению Василия. Он хмурится все более и более и, наконец, оставшись с Мальвой наедине, вызывает ее на объяснение.

— Что молчишь? — спросил Василий.

— Думаю... — сказала Мальва.

— Про что это?

— Так... — повела она бровями и, помолчав, добавила. — Сын у тебя молодец парень...

— А тебе что? — ревниво воскликнул Василий.

— Мало ли что...

— Ты... смотри! — окинул он ее суровым взглядом, полным подозрения. — Ты не дури! Я хотя и смиренный, но ты меня не дразни... да!

Он стиснул зубы и сжал кулаки, продолжая:

— Ты сегодня сразу, как приехала, играть начала во что-то... Я еще не понимаю этого... но, смотри, пойму, не ладно тебе будет! И улыбочки у тебя этакие... и все такое... Я тоже с вашей сестрой умею обращаться... коли что...

— А ты меня, Вася, не пугай... — равнодушно и не глядя на него попросила она.

— То-то! не шути же...

— А ты уж не стра-щай...

— Я и взбучку дам, коли ты баловать начнешь... — грозил Василий, озлобляясь.

— Бить станешь? — обернулась она к нему, с любопытством глядя в его взволнованное лицо.

— А что ты за графиня? И вздую...

— Да я тебе что — жена, что ли? — вразумительно и спокойно спросила Мальва и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Привыкши бить жену ни за что, ни про что, ты и со мной так же думаешь? Ну, нет. Я свободная. Я сама себе барыня и никого не боюсь. А ты вон — сына боишься: давеча как заюлил перед ним — стыд! А еще грозишь мне!

Она презрительно качнула головой и замолчала. Ее холодные, пренебрежительные слова подавили озлобление Василия. Никогда еще он не видел ее такой красивой и удивился, глядя на нее.

— Разошлась, раскаркалась... — молвил он, злясь на нее и любуясь ею.

— И еще скажу тебе вот что. Ты Сережке бахвалился, что я без тебя, как без хлеба, и жить не могу! Напрасно ты это... Может, я не тебя люблю и не к тебе хожу, а люблю я только место это... — она широко повела рукой вокруг себя. — Может, мне то нравится, что здесь пусто — море да небо и никаких подлых людей нет. А что ты тут — это все равно мне... Это вроде платы за место... Сережка был бы — к нему бы я ходила, сын твой

будет — к нему пойду... А еще лучше, кабы вас вовсе никого не было... обрыдли вы мне!.. Но если я с моей красотой захо чу — я всегда мужика, какого мне нужно, выберу... И не чета тебе...

— Вот ка-а-ак? — свирепо зашипел Василий и вдруг схватил ее за горло. — Так вот что-о?

Василий бьет Мальву. Странной женщине это понравилось. «Васька!.. Это ты бил меня?» — спрашивает она его шепотом. И затем рядом недоговоренных фраз сбивает Василия совершенно с толку, пока он, замороженный и одурманенный, не погрязает совершенно в ее ласках.

Мальва, конечно, взялась проводить прибывшего на промысла Якова к отцу только затем, чтобы подразнить любовника и посмеяться над ним.

Над Яковом, на которого ее пряная прелесть подействовала, как залпом выпитое огромное количество вина, она издевается еще пуще. Вот примечательная сцена между ними.

Яков встал рано утром, когда солнце еще не палило так жарко и с моря веяло бодрой свежестью. Он вышел из барака к морю умыться и, подойдя к берегу, увидел Мальву. Она сидела на корме большого баркаса, причаленного к берегу, и, спустив за борт голые ноги, расчесывала мокрые волосы.

Яков остановился и стал смотреть на нее любопытными глазами.

Ситцевая ее кофточка, не застегнутая на груди, спустилась с одного плеча, а плечо было такое белое, вкусное.

В корму баркаса били волны, и Мальва то поднималась над морем, то опускалась так низко, что ее голые ноги почти касались воды.

— Купалась, что ли? — крикнул ей Яков.

Она обернула к нему лицо, мельком взглянула на ноги и, снова расчесывая волосы, ответила:

— Купалась... Что рано поднялся?

— Ты вон еще раньше...

— А я тебе что за пример?

Яков промолчал.

— По моей-то манере будешь жить — трудно будет голову носить... — сказала она.

— О? Ишь ты какая страшная! — усмехнулся Яков и, присев на корточки, стал умыться.

И далее:

Яков засмеялся и полез на баркас.

Усевшись рядом с ней, он устался на ее голое плечо, полуобнаженную грудь, на всю ее фигуру — свежую и крепкую, пахнущую морем.

— Вон ты... белуга какая! — с восхищением воскликнул он, подробно осмотрев ее.

— Не про тебя... — кратко заявила она, не глядя на него и не оправляя своего откровенного костюма.

Яков вздохнул.

Перед ними расстиралось необозримое море в лучах утреннего солнца. Маленькие игривые волны, рождаемые ласковым дыханием ветра, тихо бились о борт баркаса. Далеко в море, как шрам на атласной груди его, виднелась коса. С нее в мягкий фон голубого неба вонзался шест тонкой черточкой и было видно, как на конце его треплется по ветру тряпка.

— Да, паренек... — заговорила Мальва, не глядя на Якова, — вкусна я, да не про тебя... А и никем я не купленная... и отцу твоему неподвластна. Живу я сама про себя... Но ты ко мне не лезь, потому что я не хочу между тобой и Васильем стоять... Ссоры не хочу и разной склоки... Понял?

— Да я что? — изумился Яков. — Я ведь тебя не трогаю... я так это!

— Тронуть ты меня не смеешь! — сказала Мальва.

Она так это сказала, с таким пренебрежением к Якову, что в нем сразу был обижен и мужчина, и человек. Задорное, почти злое чувство охватило его, и глаза у него вспыхнули.

— О? Не смею? — воскликнул он, подвигаясь к ней.

— Не смеешь!

— Н-ну? А как трону?

— Тронь!

— А что будет?

— А я дам тебе по затылку, ты и кувырнешься в воду!

— А ну, дай!

— А тронь!

Он окинул ее горящими глазами и вдруг крепко охватил ее сбоку сильными лапами, сдавив ей грудь и спину. От прикосновения ее тела, горячего и крепкого, он вспыхнул весь и горло его сжалось от какого-то удущья.

— Вот! Ну... бей! Ну... что?

— Пусти, Яшка! — спокойно сказала она, делая попытки освободиться из его вздрагивавших рук.

— А по затылку хотела?

— Пусти! Смотри, худо будет!

— Ну... не стражай ты меня! Эх ты... малина!

Он прижался к ней и впился толстыми губами в ее румяную щеку.

Она задорно захохотала, крепко схватила Якова за руки и вдруг сильным движением всего своего тела, рванулась вперед. В объятиях друг друга они тяжелой массой свалились в воду и скрылись в пене и брызгах. Потом на взволнованной воде появилась мокрая голова Якова с испуганным лицом, а рядом с ней вынырнула, как чайка, Мальва. Яков, отчаянно взмахивая руками, разбивал вокруг себя воду и выл, и рычал, а Мальва с громким хохотом плавала вокруг него и, плеская ему в лицо пригоршни соленой воды, ныряла, уклоняясь от широких взмахов его лап.

— Черт! — закричал Яков, фыркая. — Я утону! Будет!.. Ей-Богу... утону! Вода... горькая... Ах ты... тону-у!

Но она уже оставила его и, по-мужски загребая руками, плыла к берегу. Там, ловко взобравшись снова на баркас, она стала на корме и, смеясь,

смотрела на Якова, торопливо подплывавшего к ней. Мокрая одежда, пристав к ее телу, обрисовывала ее упругие формы от колен по плечи, и Яков, подплыв к лодке и уцепившись рукой за нее, уставился жадными глазами на эту мокрую, почти голую женщину, весело смеявшуюся над ним.

— Ну, вылезай... тюлень! — говорила она сквозь смех и, став на колени, подала ему одну руку, а другой оперлась в борт лодки.

Яков схватил ее руку и с одушевлением воскликнул:

— Ну... Теперь держись! Я тебя... в-выкупаю!..

Он тянул ее к себе, стоя по плечи в воде; волны перебегали через его голову и, разбиваясь о лодку, брызгали в лицо Мальве. Она жмурилась, хохотала и вдруг, взвизгнув, прыгнула в воду, сбив Якова с ног тяжестью своего тела.

И снова они начали играть, как две большие рыбы, в зеленоватой воде, брызгая друг на друга и взвизгивая, фыркая, рыча и ныряя.

При этом случае автор выводит третьего мужчину своей повестью, единственного, кого может полюбить Мальва, — Сережку.

К ним шел медленной походкой и покачивая корпусом, высокий, жилистый, бронзовый человек в густой шапке растрепанных, огненно-рыжих волос. Кумачовая рубаха без пояса была разорвана на спине у него почти до ворота, и, чтобы рукава ее не сползли с рук, он засучил их вплоть до плеч. Штаны представляли собой коллекцию разнообразных дыр, ноги были босы. На лице его, густо усеянном веснушками, дерзко блестели большие голубые глаза, а нос, широкий и вздернутый кверху, придавал всей его фигуре вид бесшабашно-нахальный. Подойдя к ним, он остановился и, блестя на солнце своим телом, выглядывавшим из бесчисленных дыр его легкого костюма, громко шмыгнув носом, вопросительно уставился на них глазами и скорчил смешную рожу.

— Вчера Сережка выпил немножко, а сегодня в кармане у Сережки — как в бездонном лукошке... Дайте двугривенный взаймы! Я все равно не отдам...

Между Мальвой и Сережкой, на косе у Василия происходит интересный разговор. Сережка грубо, но не без остроумия упрекает Мальву за кокетство, она задорно огрызается. Разговор, наконец, становится у них по душе.

— Слушай! — сказал он. — Ты знаешь, чего хочешь?

— Кабы знала! — с глубоким вздохом и очень тихо ответила Мальва.

— Стало быть, не знаешь? Это плохо! — уверенно заявил Сережка. — А я вот всегда знаю, — и с оттенком грусти он добавил: — только мне редко чего хочется.

— Мне всегда хочется чего-то, — задумчиво заговорила Мальва. — А чего?.. не знаю. Иной раз села бы в лодку и в море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видеть! А иной раз так бы каждого человека завертела, да и пустила волчком вокруг себя. Смотрела бы на него и смеялась. То жалко всех мне, а пуще всех — себя самое, то избива бы весь на-

род. И потом бы себя... страшной смертью... И тоскливо мне, и весело бывает... А люди все какие-то дубовые.

— Народ гнилой, — тихо согласился Сережка. — То-то я смотрю все на тебя и вижу — не кошка ты, не рыба... и не птица... А все это есть в тебе, однако... Не похожа ты на баб.

— И то слава Богу! — усмехнулась Мальва.

Мальва улыбнулась.

— А... знаешь? Мне иной раз кажется, что если бы... барак ночью поджечь, — вот суматоха была бы!

— Какая! — с восхищением воскликнул Сережка и вдруг толкнул ее в плечо. — Знаешь что... я тебя научу... забавную штуку сыграем! Хочешь?

— Ну? — с интересом спросила Мальва.

— Ты этого Яшку... раззадорила здорово?

— Огнем пышет... — усмехнулась она.

— Ну? страви его с отцом! Ей Богу! Потешно будет... Схватятся они, как медведи... Ты подогрей старика-то, да и этого тоже... А потом мы их друг на друга и спустим... а?

Мальва обернулась к нему и пристально посмотрела на его рыжее от веснушек, весело улыбавшееся лицо. Освещенное луной, оно казалось менее пестрым, чем было днем, при свете солнца. На нем не было заметно ни злости, ничего, кроме добродушной и немножко озорной улыбки, да ожидания ответа.

— За что ты их не любишь? — подозрительно спросила Мальва.

— Я?... Василий... Ничего, мужик хороший. А Яшка — дрянь. Я, видишь ты, всех мужиков не люблю... они сволочи! Они прикинутся сиротами — им и хлеба дают и ... все! У них, вон, есть земство и оно все для них делает... Хозяйство у них, земля, скот... Я у земского доктора кучером служил, насмотрелся на них... потом бродяжил я по земле много. Придешь, бывало, в деревню, попросишь хлеба — цоп тебя! Кто ты, да что ты, да подай паспорт... Бивали сколько раз... То за конокрада при мут, то просто так... В холодную сажали... Они поют да притворяются, но жить могут: — у них есть зацепка — земля. А я что против них?

— А ты разве не мужик? — перебила его Мальва, внимательно слушающая его быструю речь.

— Я мещанин! — с некоторой гордостью отрекся Сережка, — города Углича мещанин.

— А я из Павлиша... — задумчиво сообщила Мальва.

— За меня никого нет в заступниках! А мужики... они, черти, могут жить. У них и земство, и все такое.

— А земство — это что? — спросила Мальва.

— Что? А черт его знает что! Для мужиков поставлено, их управа... Плюнь на это... Ты вот говори о деле... устрой-ка им стычку, а? Ничего ведь от этого не будет... подерутся только... А я тебе помогу? Ведь Василий бил тебя? Ну, вот и пусть ему его же сын за твои побои возместит.

— А что? — усмехнулась Мальва. — Это хорошо бы...

— Ты подумай... разве не приятно смотреть, как из-за тебя люди ребра друг другу ломают? Из-за одних только твоих слов?... двинула ты языком раз — два и ... готово!

Сережка долго, с горячим увлечением, рассказывал ей о прелести ее роли. Он одновременно и шутил, и говорил серьезно, и сам искренно увлеклся своим планом.

— Эх, ежели бы я красивой женщиной был! Такую бы я на сем свете заваруху развел! — воскликнул он в заключение, а потом схватил голову в руки, креко сжал ее, зажмурил глаза и замолчал.

Отец с сыном и точно подрались. Сцена их драки отвратительна в своей низменной наготе, но изображена чрезвычайно живо.

Приезд Якова и подуськивание Сережки сделали свое дело: Василий решил уйти домой, Яков остался на промыслах, но не ему, очевидно, а босяку Сережке достанется Мальва, если только есть на свете человек, который может подчинить себе эту вольную, как ветер, натуру.

Приведенная нами беседа Мальвы и Сережки имеет большое принципиальное значение в оценке проповеди Горького. Сережка, как и его собратья Пиляй, Челкаш, Коновалов, Орлов — разочарованный босяк, ненавидящий мужика. «Я всех мужиков не люблю», — говорит он. Он предлагает Мальве сравнить отца с сыном, но при этом, по убеждению автора, в лице его не заметно ничего, кроме добродушной и озорной улыбки. А сравнить Василия с Яковым не только «забавно», но и удовлетворит чувство ненависти Сережки ко всем мужикам. Но это у него мимолетное желание, а вообще он, хотя знает, чего хочет, но ему редко чего-нибудь хочется.

Чайльд-Гарольд с рыбных промыслов, отталкивающая фигура бездомного и беспаспортного бродяги и пьяницы, любимый тип Горького — таков Сережка. Весь народ в его воззрении — «гнилой». Мужики — «сволочи», потому что у них есть земля. Земство — «черт его знает что! Для мужиков поставлено, их управа». Важно лишь, чтоб из-за тебя люди ребра друг другу ломали.

Мальва этому сочувствует. Она, в противовес Сережке, не знает, чего хочет. У нее, извольте видеть, стремление к бесконечности, к общению с природой и желание завертеть всех людей. То ей жалко всех, а пуще всего самое себя, то она избил бы весь народ, а потом бы себя... страшную смертью. Ей мечтается поджечь ночью барак и посмотреть на суматоху.

Несомненно, что подобие таких мыслей может роиться в душе Мальвы, но едва ли она сумела бы их формулировать. Формулирует их за нее Горький. Он неотрывно любит созданным им красивым образом и даже придает ему те черты и подробности, которые к нему не идут. В «Мальве» он — босяц-

кий Гомер более, чем где-либо. У него разыгрывается воображение. И на самом деле, если бы босяцкое движение имело во главе таких Сережек и при них на ампула Теруан-де-Мерикур¹⁴ придать Мальву, то, пожалуй, недалеко было бы и до осуществления пьяной грезы босяка-сапожника Орлова. «Раздробить всю землю в пыль» не удалось бы, правда, а стать повыше и плюнуть с высоты на всех людей — это вполне бы вышло. Да и сейчас выходит.

Разве вожделения и идеалы Мальвы и Сережки не плевали в лицо строю общественному?

Недовольство собою, более физическое, чем нравственное, осадок похмелья и разврата, — вот регулятор всего желаемого достойными союзниками, лохматым босяком Сережкой и разнужданной животной красавицей Мальвой.

Автор не умеет скрыть восторга перед своим созданием. Он дразнит читателя смелыми выходками против общества и его законов, как Сережка и Мальва дразнят окружающих.

И одновременно с тем, с каким презрением передает автор слова Якова о земле и истину, сорвавшуюся по тому же поводу с уст его отца!

Глядя на море, ему ранее незнакомое, и пораженный его беспредельностью, Яков фантазирует: «Ежели бы все это земля была! Да чернозем бы!... Да распахать бы!»

Очевидно, что Яков никогда не мог поддаться такой фантазии. Слишком она далека от простого крестьянского мировоззрения. Но Горькому нужно было так или иначе и в этой повести подчеркнуть убожество, несостоятельность, на его взгляд, крестьянского понятия о земле.

Василий отвечает Якову:

— Это, Яков, хорошо ты сказал! Крестьянину так и следует. Крестьянин землей и крепок: пока он на ней — он жив, а сорвался с нее — пропал! Крестьянин без земли, как дерево без корня: в работу оно годится, а прожить долго не может — гниет! И красоты своей лесной нет в нем — обглоданное оно, обстроганное, не видно!.. Это ты, Яков, очень хорошие слова сказал...

Таким слогом подобные Василию в действительной жизни не говорят. Но оно здесь и неважно. Горький и не скрывает, что говорит это он сам. Мысль, приписанная Василию, совсем не нова, но она безусловно верна. «Крестьянин землей и крепок». И как же не негодовать на это провозвестнику босячества, как общественного класса? Пока крестьянин крепок, легче сбить с пути модную поклонницу Горького, нюхающую английскую соль, если до нее дойдет запах кухни, и упивающуюся

в воображении зловонием героев Горького, — нежели сбить мужика. Мужик, коли босяк придет к нему, паспорта у него не потребует, даст ему поесть, подаст милостыню, но не забудет, что это — пропащий, пустой человек, которому следует намять бока, если он начнет воровать, или озорничать.

На крестьян, людей простой, несложной, наивной, быть может, порочной морали, проповедь босячества пока не действует. До него она, слава Богу, еще не дошла и, Бог даст, вовсе не дойдет. Если же бы случилось иначе, если бы эта проповедь дошла и до крестьянской избы и там была бы усвоена, то горе бы великое настало: пришла бы новая пугачевщина, горшая старой.

V

Говоря о наиболее выдающихся в художественном отношении рассказах Максима Горького, нельзя обойти молчанием очерк «Васька Красный» (1899 г.).

Вполне художественных произведений у Горького, как видно из сказанного ранее, совсем нет. В каждом из лучших его очерков встречаются места, которые желательно было бы видеть исправленными, измененными. Везде у него масса неровностей в письме. Нигде, быть может, неровности эти не выражены так очевидно, как в «Ваське Красном», но неровности эти в данном случае скорее нужно отнести к намеренной неправде основного замысла, нежели к его выполнению и развитию.

Замечание это, — спешим оговориться, — мы относим только к заглавному лицу очерка, так как его героиня, Аксюша, вполне жизненна и ни в какой мере не утрирована.

Васька же Красный изображен чересчур сгущенными красками, он такой злодей, каких на самом деле никогда не бывает. Злодей, весь поглощенный своим злодейством, без всякого просвета иных чувств и побуждений. Подобных явлений в жизни не бывает и, по счастью для человечества, быть не может. Чем более жесток Васька, тем явственнее пробуждение в нем добрых чувств, наступившее после происшедшей катастрофы. Для эффекта, искусственного и лубочного, оно весьма полезно, но правдивость описания от того не выигрывает.

Но если мы допустим, что такой именно Васька возможен в действительной жизни, то придется признать всю повесть художественной.

Местом действия своего очерка Горький взял публичный дом.

Лет пятнадцать-двадцать назад на это и в такой форме никто бы не решился. Нам помнится, что появление в конце семидесятых или в начале восьмидесятых годов прошлого века рассказа Ги де Мопассана «La maison Tellier» поразило всех смелостью выбора места действия. Теперь это уже никого не поражает.

Конечно, дело не в самом месте. Гоголь в «Невском проспекте» приводит художника-идеалиста Пискарева в публичный дом. Всеволод Крестовский дает одну из самых драматических сцен «Петербургских трущоб» в таком же вертепе. Дело — в манере трактования предмета, в наготе изложения, которая заставляет, например, в первой же цитате из рассказа зачеркнуть одно слишком протокольное слово, ничего, впрочем, не прибавляющее к полноте повествования.

Впрочем, теперь, после «расцвета» нашей словесности в известную сторону, мы перестали всему удивляться и давно утратили мерку дозволенного общественными приличиями и доброю нравственностью. Нами забыта та чудная манера истинных писателей, при помощи которой можно высказаться о самых щекотливых предметах вполне понятно, но не оскорбляя ни чувства изящного, ни чувства стыдливости, — не ложной, а естественной, в читателе.

Начало «Васьки Красного» таково:

Недавно в публичном доме одного из поволжских городов служил человек лет сорока, по имени Васька, по прозвищу Красный. Прозвище было дано ему за его ярко рыжие волосы и толстое лицо цвета сырого мяса.

Толстогубый, с большими ушами, которые торчали на его черепе, как ручки на рукомоилнике, он поражал людей жестоким выражением своих маленьких, бесцветных глаз; они заплыли у него жиром, блестели, как льдины, и, несмотря на его сытую, мясистую фигуру, всегда взгляд его имел такое выражение, как будто этот человек был смертельно голоден. Невысокий и коренастый, он носил синий казакин, широкие суконные шаровары и ярко вычищенные сапоги с мелким набором. Рыжие волосы его вились кудрями, и когда он надевал на голову свой щегольский картуз, они, выбиваясь из-под картуза кверху, ложились на околыш картуза, — тогда казалось, что на голове у Васьки надет красный венок.

Красным его звали товарищи, а девицы прозвали его Палачом, потому что он любил истязать их.

В городе было несколько высших учебных заведений, много молодежи, поэтому дома терпимости составляли в нем целый квартал: длинную улицу и несколько переулков, Васька был известен во всех домах этого квартала, его имя наводило страх на девиц, и когда они почему-нибудь ссорились и вздорили с хозяйкой — хозяйка грозилась им:

— Смотрите вы!.. Не выводите меня из терпенья... а то как позову я Ваську Красного!..

Иногда достаточно было одной этой угрозы, чтоб девицы усмирились и отказались от своих требований, порой вполне законных и справедливых, как, например, требование улучшения пищи или права уходить из дома на прогулку. А если одной угрозы оказывалось недостаточно для усмирения девиц, — хозяйка звала Ваську.

Он приходил медленной походкой человека, которому некуда было торопиться, запирался с хозяйкой в ее комнате, и там хозяйка указывала ему подлежащих наказанию девиц.

Молча выслушав ее жалобу, он кратко говорил ей:

— Ладно...

И шел к девицам. Они бледнели и дрожали при нем, он это видел и наслаждался их страхом. Если сцена разыгрывалась в кухне, где девицы обедали и пили чай, — он долго стоял у дверей, глядя на них, молчаливый и неподвижный, как статуя, и моменты его неподвижности были не менее мучительны для девиц, как и те истязания, которым он подвергал их.

Посмотрев на них, он говорил равнодушным и сиплым голосом:

— Машка! Иди сюда...

— Василий Мироныч! — умоляюще и решительно говорила иногда девушка: — ты меня не тронь! Не тронь... тронешь — удавлюсь я...

— Иди, дура, веревку дам... — равнодушно, без усмешки, говорил Васька.

Он всегда добивался, чтобы виновные сами шли к нему.

— Караул кричать буду... Стекла выбью... — задыхаясь от страха, перечисляла девица все, что она может сделать.

— Бей стекла... а я тебя заставлю жрать их... — говорит Васька.

И упрямая девица, в большинстве случаев, сдавалась, подходила к Палачу; если же она не хотела сделать этого, Васька сам шел к ней, брал ее за волосы и бросал на пол. Ее же подруги, — а зачастую и единомышленницы, — связывали ей руки и ноги, завязывали рот и тут же на полу кухни и на глазах у них виновную пороли. Если это была бойкая девица, которая могла и пожаловаться, ее пороли толстым ремнем, чтобы не расщепить ее кожу, и сквозь простыню, смоченную водой, чтоб на теле не оставалось кровоподтеков. Употребляли также длинные и тонкие мешочки, набитые песком и дресвой, — удар таким мешком причинял человеку тупую боль и боль эта не проходила долго...

Впрочем, жестокость наказания зависела не столько от характера виновной, сколько от степени ее вины и симпатии Васьки. Иногда он и смелых девиц порол без всяких предосторожностей и пощады: у него в карма-не шаровар всегда лежала плетка из трех концов на короткой дубовой рукоятке, отполированной частым употреблением. В ремни этой плетки была искусно вделана проволока, из которой на концах ремней образовалась кисть. Первый же удар плетки просекал кожу до костей, и часто, для того чтобы усилить боль, на иссеченную спину приклеивали горчичник или же клали тряпки, смоченные круто-соленой водой.

Не надо и настаивать, — оно и так видно, — на искусственной простоте первых фраз вступления в очерк. Описание наружности Васьки сделано так, чтобы каждый видел, как он ужасен. Такое усиленное искание ужаса приводит нередко к результатам совершенно противоположным тем, которых добивается автор. На самом деле, если, желая изобразить какое-либо чудовище, — лешего, что ли, — мы снабдим его рогами, хвостом, клыками, когтями, оденем его шерстью, то, казалось бы, он должен быть страшен, но выведите его в таком образе на сцену, напишите на картине, ярко изобразите в сказке, и, вместо впечатления ужаса, получится впечатление комизма. Только в полутонах, в недоговоренности, в намеках, в некоторой таинственности таится впечатление ужаса.

Максим Горький умеет наложить тень мимоходом на то, что замарать ему желательно. Говоря о количестве публичных домов в приволжском городе, он вскользь замечает: «В городе было несколько высших учебных заведений, много молодежи, поэтому дома терпимости составляли в нем целый квартал». Это «поэтому» — совершенно произвольно. Учащаяся молодежь пропорциональна населению, и в городе без высших учебных заведений, надо полагать, не одни же старики живут. Во время ярмарки в Нижнем Новгороде, например, наезжает в город много проституток, открываются временные вертепы, но, очевидно, учащаяся молодежь и высшие учебные заведения здесь ни причем, а вызывается это явление наплывом приезжих людей, временным увеличением населения.

Едва ли Максим Горький верит в выставленную им причину, Вернее думать, что ему, восхвалителю босяков, приятно и необходимо бросить грязью во все не босяцкое, даже в ту среду, где он нашел себе наибольшее количество поклонников.

Особенно жестокие служители в домах терпимости — не редкость. Самая их должность — «вышибать» бушующих гостей из «заведения» — делает их особенно черствыми. Нет мудреного, что хозяйки таких учреждений, в иных случаях, пользуются подобными слугами для самоуправного наказания закрепощенных ими девушек, но трудно поверить, чтобы где-либо существовал такой палач, которого все дома терпимости в городе приглашают на гастроли истязательства. Самые способы истязания, описанные Горьким, требующие и приспособлений (особых плеток, мешков с песком) и обдуманной жестокости, делают маловероятным его сообщение. И так в притонах разврата всякое понятие о праве, о человеческой личности не существует. Отребья общественные, — хозяйки этих учреждений,

создали свой кодекс бесправия, которому, как бы и действительно закону, покорно подчиняются несчастные девушки, торгующие собою. На многое совершающееся в этих притонах, волей и неволей, смотрят сквозь пальцы, но обращение целого квартала города в застенок привлекло бы внимание полиции самой небдительной и не могло бы существовать целые годы.

Максим Горький был бы ближе к истине, если бы не делал из Васьки Красного всеобщего палача, а ограничился бы лишь тем домом, где Васька служил, и где собственно и произошла та сердечная драма, которая составляет сущность повести.

Там, где служил Васька, жило 11 девушек. Все они попробовали Васькиного ремня и все перебивали его наложницами. Все они трепетали и ненавидели его. Все они ждали, что когда-нибудь наступит час возмездия, даже покушались, но неудачно, отравить Ваську.

В числе жительниц дома была Аксинья.

Это была девушка среднего роста, толстая и такая плотная — точно ее молотком выковали. Грудь у нее могучая, высокая, лицо круглое, рот маленький, с толстыми, ярко-красными губами. Безответные и ничего не выражавшие глаза напоминали о двух бусах на лице куклы, а курносый нос и кудерки над бровями, довершая ее сходство с куклой, даже у самых невзыскательных гостей отбивали всякую охоту говорить с нею о чем-либо. Обыкновенно ей просто говорили:

— Пойдем!..

И она шла своей тяжелой, качающейся походкой, бессмысленно улыбаясь и поводя глазами справа налево, чему ее научила хозяйка и что называлось «завлекать гостя». Ее глаза так привыкли к этому движению, что она начинала «завлекать гостя» прямо с того момента, когда, пышно разодетая, выходила вечером в зал еще пустой, и так ее глаза двигались из стороны в сторону все время, пока она была в зале, одна, с подругами или гостем — все равно.

У нее была одна странность: оббив свою длинную косу, цвета нового мочала, вокруг шеи, она опускала конец ее на грудь и все время держалась за нее левой рукой — точно петлю носила на шее своей...

Она могла сообщить о себе, что зовут ее Аксинья Калугина, а родом она из Рязанской губернии, что она — девица, «согрешила» однажды с «Федькой», родила и приехала в этот город с семейством «акцизного», была у него кормилицей, а потом, когда ребенок умер, ей отказали от места и «наняли» сюда. Вот уже четыре года она живет здесь...

— Нравится? — спрашивали ее.

— Ничего. Сыта, обута, одета... Только беспокойно вот... И Васька тоже... дерется все, черт...

— Зато весело?!

— Где? — спрашивала она, «завлекая гостя».

— Здесь-то... разве не весело?

— Ничего!.. — отвечала она и, поворачивая головой, осматривала зал, точно желая увидеть, где оно тут, это веселье?

Вокруг нее все было пьяно и шумно и все от хозяйки и подруг до формы трещин на потолке было знакомо ей.

Говорила она густым басовым голосом, а смеялась лишь тогда, когда ее щекотали, смеялась громко, как здоровый мужик, и вся тряслась от смеха. Самая глупая и здоровая среди своих подруг, она была менее несчастна, чем они, ибо ближе их стояла к животному.

Васька наказал Аксинью за то, что она засыпала в зале, и наказал горше, чем кого-либо. Он вывел ее нагулю на двор и, уткнув лицом в кучу снега, бил нещадно ремнем.

Наконец, пришла к Ваське беда. Его привезли со сломанной ногой. Он упал с конки и попал ногой под колесо. Несчастье Васьки привело в необузданный восторг его жертв.

— Пошли вон! — сказал им Васька.

Ни одна из них не тронулась с места.

— А! Радуетесь!..

— Не заплачем, — ответила Лида, усмехаясь.

— Хозяйка! Гони их прочь... Что они... пришли!

— Боишься? — спросила Лида, наклоняясь к нему.

— Идите, девки, идите вниз... — приказала хозяйка.

Они пошли. Но, уходя, каждая из них зловецке взглядывала на него, — а Лида тихо сказала:

— Мы придем!

Аксинья же, погрозив ему кулаком, закричала:

— У, дьявол! Что — изломался? Так тебе и надо...

Очень изумила девиц такая ее храбрость.

Когда доктор, сделав Ваське перевязку, уехал, девицы вернулись в комнату своего палача.

Васька лежал, закрыв глаза, и, не открывая их, сказал:

— Опять вы пришли...

— Чай, нам жалко тебя, Василь Мироныч...

— Разве мы тебя не любим?

— Вспомни, как ты меня...

Они говорили не громко, но внушительно, и, окружив его постель, смотрели в его серое лицо злыми и радостными глазами. Он тоже смотрел на них, и никогда раньше в его глазах не выражалось так много неудовлетворенного, ненасытного голода, — того непонятного голода, который всегда блестел в них.

— Девки... смотрите! Встану я...

— А, может, Бог даст, не встанешь... — перебила его Лида.

Васька плотно сжал губы и замолчал.

— Которая ножка-то болит? — ласково спросила одна из девиц, наклоняясь к нему, — лицо у нее было бледно и зубы оскалены. — Эта, что ли?

И схватив Ваську за больную ногу, она с силой дернула ее к себе.

Васька щелкнул зубами и зарычал. Левая рука у него тоже была разбита, он взмахнул правой и, желая ударить девицу, ударил себя по животу.

Взрыв смеха раздался вокруг него.

— Девки! — ревел он, страшно вращая глазами. — Берегись!.. убивать буду!..

Но они прыгали вокруг его кровати и щипали, рвали его за волосы, плевали в лицо ему, дергали за больную ногу. Их глаза горели, они смеялись, ругались, рычали, как собаки, их издевательства над ним принимали невыразимо гадкий характер. Они впали в упоение мстью, дошли в ней до бешенства. Все в белом, полуодетые, разгоряченные толкотней, они были чудовищно страшны.

Васька рычал, размахивая правой рукой; хозяйка, стоя у двери, выла диким голосом:

— Будет! Бросьте... полицию позову! Убьете вы... батюшки! ба-а-тюшки!

Но они не слушали ее. Он истязал их годами, они возмещали ему минуты и торопились...

Друг среди шума и воя этой оргии раздался густой, умоляющий голос:

— Девушки! Будет уж... Девушки, пожалейте... Ведь он тоже... тоже ведь... больно ему! Милые! Христа ради... Милые...

На девиц этот голос подействовал, как струя холодной воды: они испуганно и быстро отошли от Васьки.

Говорила Аксинья: она стояла у окна и вся дрожала и в пояс кланялась им, то прижимая руки к животу, то нелепо простирая их вперед.

Мучительницы послушались товарки и оставили ее одну с истерзанным палачом. Она стала за ним ухаживать со своей прямоотой и простодушием, видимо, не сознавая, что совершает высокий, истинно христианский подвиг любви. Место в больнице для Васьки не очищалось, и Аксинья несколько дней исполняла добровольно обязанности сиделки.

Если она не понимала высоты своей добродетели, то понял это Васька. Он однажды подозвал ее и предложил ей обвенчаться. Он признался, что у него есть шестьсот рублей, сказал, что будет искать с конки за увечье, и предложил Аксинье ехать в Самару или Симбирск и там открыть «свое заведение».

Аксинья хохочет до упаду на предложение обвенчаться. Возрождение Васьки идет вперед. Через день он уже не хочет открывать заведение, а мечтает о лавочке, о торговле. Аксинья одобряет это новое решение, но идти с Васькой не желает. Сначала она ему говорит: «Ты завезешь меня, да и убьешь где-нибудь. Ведь ты мучитель известный», и потом: «Чтобы с тобой жить, — нет! боюсь я тебя... очень уж ты злодей!» Напрасно Васька силится доказать ей, что это не совсем так. «Думаешь, — говорит он, — легко, если злодей?», и далее: «Ну, злодей, — так разве весь человек в этом?» (Совершенно верно, скажем в скобках, но автору следовало показать это раньше, хотя одной маленькой черточкой.)

Аксинья не сдается на просьбы. Наконец, Ваське вышло место в больнице.

Ваську осторожно свели сверху в кухню, и там он увидел всех девиц, столпившихся у двери в комнату.

Лицо его перекосилось, однако он ничего не сказал им. Они смотрели на него сурово и серьезно, но по их глазам нельзя было бы определить, что они думают при виде Васьки. Аксинья с хозяйкой надевали на него пальто, и все в кухне тяжело и хмуро молчали.

— Прощайте! — вдруг сказал Васька, наклонив голову и не глядя на девиц. — Про... прощайте!

Некоторые из них молча поклонились ему, но он не видел этого; а Лида спокойно сказала:

— Прощай, Василий Мироныч...

— Прощайте... да..

Фельдшер и больничный служитель взяли его под мышки и, подняв с лавки, повели к двери. Но он опять повернулся к девицам:

— Прощайте... был я... точно что...

Еще два или три голоса сказали ему:

— Прощай, Василий...

— Ничего не поделаешь! — тряхнул он головой, и на лице его явилось что-то удивительно не подходившее к нему.. — Прощайте! Христа ради... которых... которым...

— Увозят! Уве-зут его, маво милаго... — вдруг дико завывла Аксинья, грохнувшись на лавку.

Васька дрогнул и поднял голову кверху. Глаза у него страшно заблестели: он стоял, внимательно вслушиваясь в этот вой, и дрожащими губами тихо говорил:

— Вот... дура! Вот так ду-ура!

— Идите, идите! — торопился фельдшер, хмуря брови.

— Прощай, Аксинья! Приходи в больницу-то... — громко сказал Васька.

А Аксинья все выла...

— И на-кого-и-ты-это-меня по-оки-инул?..

Девицы окружили ее и смотрели тупыми глазами на ее лицо и на слезы, лившиеся из глаз ее.

А Лида, наклонясь над ней, сурово утешала ее:

— Ну, чего ты, Ксюша, ревешь-то! Ведь не умер он... Ну, пойдешь к нему... ну, вот завтра, возьми да и пойдиди!..

Эта заключительная сцена сделала бы честь любому перу. Если бы Максим Горький написал хоть одну цельную повесть той художественной формы, он был бы великим писателем. В этой сцене соблюдено чувство меры, каждая подробность — на своем месте. Тут нельзя ничего убавить и ничего прибавить. Эта глупая, но практичная Аксинья с ее причитанием, по деревенскому обряду, достигает в приведенной сцене высшей степе-

ни драматизма. Легко было испортить сцену несколькими лишними словами, но автор опускает как раз вовремя занавес.

К сожалению, таких, не испорченных ничем сцен, кроме той, о которой мы говорим, пожалуй, у Горького больше и не найдешь.

Приведенными образчиками исчерпывается все самое лучшее в произведениях Горького.

Заканчивая настоящую главу, не можем не привести еще одного места из «Васьки Красного». Приступая к описанию беды, струсившей над Васькой, автор говорит:

У жизни есть своя мудрость, ей имя случай; она иногда награждает нас, но чаще мстит, и, как солнце каждому предмету дает тень, так мудрость жизни каждому поступку людей готовит возмездие. Это верно, это неизбежно, и всем нам надо знать и помнить это.

Мысль совершенно верная. Возмездие неизбежно, и каждому надо помнить это...

И не одним лишь палачам, как Васька, не одним лишь людям, совершающим очевидные, осязаемые злодеяния, а и тем, кто не истязает, правда, безответных жертв, но кто талант, Богом ему данный, посвятит не на служение добру, правде и красоте, а на поселение смуты в сердцах, путем распространения безнравственного учения, путем отрицания всех основ общественных, путем возвеличения низшего, худшего в обществе на первую степень.

Помнить свои собственные слова надо прежде всего Максиму Горькому.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Максим Горький как романист. — «Фома Гордеев». — Герой романа как выразитель идей Горького.

I

Талантливые авторы маленьких рассказов нередко оказываются весьма посредственными романистами. Одно дело — дать яркий короткий очерк, в котором читатель удовольствуется чисто эскизными чертами, другое дело — создать цельное большое произведение, с последовательным развитием чувств, характеров, наконец, самой фабулы.

Неровности замысла, почти незаметные в коротком рассказе, в большом романе выступают безобразными наростами, ибо,

в зависимости от размеров произведения и неровности разрастаются с увеличением этих размеров.

Даже у гениальных художников эскизы, наброски, служащие предуготовлением к большому произведению, обещают иногда больше, чем дало само произведение. Если сравнивать, например, картину Иванова «Явление Христа народу», с множеством эскизов и этюдов к ней, вышедших из-под кисти знаменитого живописца, то легко увидеть, что, подавленный массой сырого материала, гениально трактованного им в подробностях, Иванов не мог включить его весь в свою картину и подчас выбирал не лучшие из этюдов.

Так и в изящной словесности. При обработке большого произведения приходится жертвовать иными увлекательными подробностями, чтобы не нарушить цельности, единства и соразмерности всей картины.

Даже такой высокоталантливый бытописатель, как Ги де Мопассан, доходивший до совершенства в своих маленьких рассказах, — в своих романах не сумел сравняться с высотой своих же рассказов. Хотя романы его, сами по себе, без сравнения взятые, обличают в авторе недюжинное дарование, но не выдерживают параллели с его мелкими вещами.

Еще ярче проявилось в Максиме Горьком то положение, что быть автором талантливых рассказов не значит быть способным дать большой роман.

Романов Махим Горький дал два: «Фома Гордеев» и «Трое». Сам он их романами не называет. Они помещены в 4 и 5 томах его «Рассказов», но по своей величине (свыше 20 печатных листов) и по тому, что произведения эти посвящены развитию одной и той же истории одного лица, они должны быть причислены к тому, что мы привыкли называть «романом». Новые писатели вообще избегают старых определений старой риторики. Издавая сценическое произведение, они не называют его «трагедией», «драмой», «комедией», а непременно «пьесой», «сценами», а иногда декадентскими именами «скорбь на трех днях» (вместо действий), «поэма в лицах в пяти настроениях» и т. п.

Это очень удобно. Ответ с себя снимаешь. Скажут такому автору: «У вас ни завязки, ни развязки, ни борьбы в вашем театральном сочинении нет». А он и прав, — возражает: «Я же не драму писал, а сцены».

Не в названиях, разумеется, сила. Пусть «Фома Гордеев» и «Трое» будут называться не романами, а просто длинными про-

изведениями, большими рассказами, но для читателя они, по своим размерам и содержанию, подходят под понятие того, что мы привыкли именовать, быть может, и ошибочно, романами.

Максим Горький как романист неизмеримо ниже Максима Горького как рассказчика. Его романы изумительно скучны. Прочитать их от строки до строки — подвиг, жестокий опыт над собственным терпением. Скука эта не есть субъективное впечатление пишущего настоящие строки. Она непременно является у всякого непредубежденного, во что бы то ни стало, в пользу Горького, читателя. Происходит она не от малой интересности сюжета. Всякий сюжет может быть интересен, если он разработан надлежащим образом. Происходит она и не от того, что романы Горького были бездарно написаны. Нет, в них есть страницы, которые, будучи отдельно взяты, написаны ярко и талантливо, не хуже его мелких рассказов. Скука проистекает от того, что все эти удавшиеся и не удавшиеся автору сцены, сопоставленные в одно целое, ничего цельного не представляют. Скука проистекает от того, что из всего этого нагромождения материала ровно ничего не выйдет, что продолжать в том же порядке автор мог бы на пространстве не только двадцати, а хоть двадцати тысяч листов, от сознания, что такая-то сцена, очень подробно изложенная, совсем не пропорциональна другой, скомканной, между тем как вторая играет гораздо более важную роль в экономии повествования, чем первая.

Романами своими Максим Горький не сказал нового, по сравнению со своими предшествующими рассказами. Идеи его упорно все те же. Те же тезисы отрицания и порицания строя общественного, та же проповедь его разрушения.

Если бы романы Горького не служили к вящему подтверждению той проповеди, которую мы в Горьком отметили, то можно было бы и вовсе о них умолчать. Для полноты картины упомянем о них, ибо и они дают материал для подлежащего нам конечного вывода о занимающем нас писателе. Из романов остановимся на одном «Фоме Гордееве». Он все-таки стройнее и складнее, чем «Трое». Разбирать же оба романа, — сходственные не только по слабости замысла, неровности исполнения, неудачности конца, но и по тому обстоятельству, что в обоих произведениях выведены три мальчика, вырастающие на глазах читателя во взрослых людей, — значило бы без пользы для нашей задачи отнимать у читателя его время.

II

«Фома Гордеев» посвящен Горьким Антону Павловичу Чехову. Это показывает, что сам автор придавал своему крупному (по размерам) произведению особое значение. Для нас посвящение это имеет особый смысл, и не грезившийся автору. Приблизительно такой: «Вы, Антон Павлович, писали хорошенькие, прелестные рассказы, создавшие вам славу; вы взялись за произведения больших размеров и стали сами на себя не похожи; мое первое произведение, в котором я иду под гору, в отношении талантливости, — посвящаю вам».

Роман озаглавлен по имени и фамилии главного лица. Обычай этот не нов. С таким заглавием приобрели славу «Евгений Онегин» Пушкина, «Рудин» Тургенева, «Анна Каренина» Толстого. Много было таких названий и у иностранных писателей. Заглавие такое ничего не говорит читателю, взявшемуся за книгу, но по прочтении произведения у читателя навсегда должен остаться в голове тип центрального лица романа, — тип, который уже не смешаешь с другим. Читателю было бы столь же странно переименовать «Евгения Онегина» во «Всеволода Ладогина», как перестать называть своего старого бывшего знакомого Иваном Ивановичем и перекрестить его в Петра Петровича. Имя как бы срастается с его носителем, но для этого необходимо, чтобы носитель имени в литературном произведении был типом. Из своих шести романов («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым» и «Новь») Тургенев назвал именем героя лишь первый. Этим проявил он великое чутье тонкого художника. Действительно, ни Лаврецкий, ни Елена в «Накануне», ни столь новый для своего времени Базаров, ни герои «Дыма» и «Нови» не представляют такого законченного, довершенного типа, как Рудин.

Представляет ли такой завершенный тип Фома Гордеев? Он даже вовсе не тип, не только что завершенный. Сделавшись усердным читателем Горького, автор настоящего исследования не раз — приходится в том покаяться — мысленно называл Фому Гордеева Ильей («Трое»). Сама история Фомы Гордеева тоже не имеет ничего столь необычайного, чтобы все повествование наречь его именем. Но Горький, избрав такое заглавие, достиг цели. «Фома Гордеев» попал на уста и нашелся даже какой-то переделыватель этого несообразного повествования в драму. К сожалению, с этим фабрикантом нам не удалось ознакомиться, но и так можно сказать, что именно элементов драматических в «Фоме Гордееве» вовсе нет. Это — тягучий пере-

сказ неинтересной личной жизни Фомы, рассказ без строго обдуманного плана, сдобренный в конце пьяною, но задорною проповедью опять-таки босяцкого катехизиса.

Когда вы начинаете читать «Фому Гордеева», то живость отдельных картин вас заинтересовывает; вы начинаете думать, что там, дальше, кроется настоящий роман. Но страница мелькает за страницей, вы уже треть прочитали. Фома вырос, лишился отца, пред вами мелькали лица, разговоры, но вы не подвинулись ни на шаг и вами начинает овладевать томление духа и сознание, вполне подтверждающееся, что и до конца ровно ничего нового не будет.

Богатырски сложенный, красивый и неглупый, он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача — не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют, даже не могут задумываться над выбором средств и помимо своего желания не знают иного закона. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с ней, — но совесть — это сила, непобедимая лишь для слабых духом; сильные же быстро овладевают ею и поработают ее своим желаниям, ибо они бессознательно чувствуют, что если дать ей простор и свободу — она изломает жизнь. Они приносят ей в жертву несколько бессонных ночей; а если случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же здорово и сильно живут под ее началом, как жили и без нее...

В сорок лет от роду Игнат Гордеев сам был собственником трех пароходов и десятка барж. На Волге его уважали, как богача и умного человека, но дали ему прозвище — «Шалый», ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, как у других людей, ему подобных, а, то и дело мятежно вскипая, бросалась вон из колеи, в сторону от наживы, главной цели существования этого человека. Было как бы трое Гордеевых, или — в теле Игната были как бы три души. Одна из них, самая мощная, была только жадна, и когда Игнат жил, подчиняясь ее велениям, — тогда он был просто человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею, и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и настраивая на ней сети, которыми ловил золото: он скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах; грабил, обманывал, иногда не замечал этого, иногда — замечал, и, торжествуя, открыто смеялся над обманутыми им и в безумии своей жадности денег возвышался до поэзии. Но, отдавая так много силы этой погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле слова, и даже порой обнаруживал непонятное, но искреннее равнодушие к своему имуществу. Однажды, во время ледохода на Волге, он стоял на берегу и, видя, как лед ломает его новую сорокапятисаженную баржу, притиснув ее к обрывистому берегу, приговаривал сквозь зубы:

— Так ее... ну-ка еще... жми-давай!.. ну, еще разок!.. рры!

— Что, Игнат, — спросил его кум Маякин, подходя к нему, — выжи-мает лед-то у тебя из мошны тысяч десять, этак?

— Ничего! Еще сто наживем... а ты гляди, как работает Волга-то! а? Здорово? Она, матушка, всю землю может разворотить, как творог ножом... гляди, гляди! Вот-те и «Боярыня» моя! Все одну воду поплавала... Ну, справим, что ли, поминки ей?

Баржу раздавило на щепки. Игнат с кумом, сидя в трактире на берегу, пили водку и смотрели в окно, как вместе со льдом по реке неслись обломки «Боярыни».

— Жалко посуду-то, Игнат? — спросил Маякин.

— Ну, чего ж жалеть? Волга дала, Волга и взяла... Чай, не руку мне оторвало...

— Все-таки...

— Что — все-таки? Ладно, хоть сам видел, как все делалось... вперед наука. А вот когда у меня «Волгарь» горел — жалко, не видал я. Чай, какая красота, когда на воде, да темной ночью, этакий кострище пылает, а? Большущий пароходика был...

— Будто тоже не пожалел?

— Пароход? Пароход... жалко было, точно... Ну, да ведь это глупость одна — жалость! Какой толк? Плачь, пожалуй: слезы пожара не потушат. Пускай их — пароходы горят... и хоть все сгори — плевать! Горела бы душа к работе... и все снова воздвигнется... так ли?

— Н-да, — сказал Маякин, усмехаясь. — Это ты крепкие слова говоришь... И кто так говорит — его хоть догола раздень, он все богат будет...

Относясь так философски к потерям тысяч, Игнат знал цену каждой копейки: он даже нищим подавал редко и только тем, которые были совершенно неспособны к работе. Если же милостыню просил мало-мальски здоровый, Игнат строго говорил:

— Проваливай! Еще работать можешь... поди, вон, дворнику моему помоги навоз убрать, — семишник дам.

В периоды увлечения работой он к людям относился сурово и безжалостно, — он и себе покоя не давал, лоя рубли. И вдруг, — обыкновенно это случалось весной, когда все на земле становится так обаятельно красиво и чем-то укоризненно ласковым веет на душу с ясного неба, — Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чем-то и боясь спросить вслух. Тогда в нем просыпалась другая душа — буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и циничный, он пил, развратничал и спаивал других, он приходил в исступление и в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал и носит, он рвет их и бесилен разорвать. Всклокоченный, грязный, с лицом, опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревущий хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал под пение заунывных народных песен и плясал и бил кого-нибудь, но нигде и ни в чем не находил успокоения.

О его кутежах в городе создавались легенды, его все строго осуждали, но никто никогда не отказывался от его приглашения на оргии. Так он жил неделями. И неожиданно являлся домой, еще весь пропитанный запахом кабаков, но уже подавленный и тихий. Со смиренно опущенными глазами, в которых теперь горел стыд, он молча слушал упреки жены, смиренный и тупой, как овца, уходил к себе в комнату, и там запирался. По несколько часов кряду он выстаивал на коленях перед образами, опустив голову на грудь; беспомощно висели его руки, спина сгибалась, и он молчал, как бы не смея молиться. К дверям на цыпочках подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи раздавались за дверью — вздохи лошади, усталой и больной...

— Господи! Ты видишь... — глухо шептал Игнат, с силой прижимая к широкой груди ладони рук.

Во дни покаяния он пил только воду и ел ржаной хлеб. Жена утром ставила к двери его комнаты большой графин воды, фунта полтора хлеба и соль. Он отворял дверь, брал себе эту трапезу и снова запирался. Его не беспокоили ничем в это время, даже избегали попадаться на глаза ему... Через несколько дней он снова являлся на бирже, шутил и смеялся, принимал подряды на поставку хлеба, зоркий, как опытный хищник, тонкий знаток всего, что касалось дела.

Эта характеристика едва ли не лучшая во всем романе. В ней нет нового. Такой тип купца, вышедшего в люди не из чего, хорошо знаком каждому, но характерные черты Игната умело сгруппированы.

Игнату не хватало сына. Жена родила ему четырех дочерей, умерших в детстве. Затем и сама она скончалась. Игнат горевать не стал. Он выбрал себе жену — дочь казака-молочанина. Красавица-жена оказалась существом странным. Она не выражала никаких желаний, ее ничто не радовало, ничто не развлекало. Она жила с какой-то затаенной и, видимо, недоброй думой в голове. Мужу не перечила, но когда он погрозился ее прибить, дала ему отпор: «Ежели тронешь, — больше ко мне не подходи! Не допущу до себя».

Эта странная женщина родила Игнату сына Фому и умерла родильной горячкой.

Вечно занятый Игнат, без женщины в доме, отдал Фому на воспитание куму Маякину, перед умом которого поклонялся. Маякина все уважали в городе, хотя за ним водились и не совсем светлые дела. Он был начетчиком, отчасти лицемером, большим знатоком практической жизни. Детям своим Маякин дал воспитание. Сын, Тарас, дошел до университета, но вследствие студенческой истории попал в Сибирь, и отец от него отрекся. Дочь, Любовь, воспитывалась в пансионе. Она была сверстницей Фомы и отцы, еще при младенчестве детей, смека-

ли о возможности брака между ними и о соединении капиталов.

Семи лет от роду Фома был взят отцом домой. Соскучился по сыну Игнат. Он поселил у себя сестру Анфису. Фома привязался к тетке, тешившей его сказками. Игнат горячо любил сына.

Пора было наконец отдавать Фому учиться. Отец решил взять его с собою в путешествие по делам, по Волге, вниз до Астрахани, а осенью поместить в школу.

Путешествие с отцом кое-чем обогатило ум Фомы.

Целые дни Фома проводил на капитанском мостике рядом с отцом. Молча, широко раскрытыми глазами смотрел он на бесконечную панораму берегов, и ему казалось, что он движется по широкой серебряной тропе в те чудесные царства, где живут чародеи и богатыри знакомых ему сказок. Порой он начинал расспрашивать отца о том, что видел. Игнат охотно и подробно отвечал ему, но мальчику не нравились ответы: ничего интересного и понятного ему не было в них, и не слышал он того, что желал бы услышать. Однажды он со вздохом заявил отцу:

— Тетя Анфиса знает лучше тебя...

— Что она знает? — спросил Игнат, усмехаясь.

— Все, — убежденно ответил мальчик.

Чудесные царства не являлись пред ним. Но часто на берегах реки являлись города, совершенно такие же, как и тот, в котором жил Фома. Одни из них были побольше, другие поменьше, но и люди, и дома, и церкви — все в них было такое же, как в своем городе. Фома осматривал их с отцом, оставался недоволен ими и возвращался на пароход хмурый, усталый.

— Вот завтра приедем в Астрахань... — сказал однажды Игнат.

— А она... такая же, как все?

— Ну, известно... а то какая же?

— А за ней что?

— Море... Каспийское море называется.

— А что в нем есть?

— Рыба — чудак! Что может в воде быть.

— Город-то Китеж в воде стоит...

— То... другое дело! То Китеж... в нем — одни праведники жили.

— А в море праведные города не бывают?

— Не бывают... — сказал Игнат и, помолчав, прибавил: — вода морская — горькая и пить ее нельзя...

— А за морем опять земля будет?

— Известно, чай, море-то должно края иметь... Оно как чашка...

— И опять города там?

— Опять города... а как же? Только там уж не наша земля будет, а Персидская... Видал персияшек, которые вот на ярмарке-то... шептала, урюк, фисташка?

— Видал... — ответил Фома и задумался.

Однажды он спросил отца:

- Много еще земли-то?
- Земли, брат... о-очень много!
- А на ней все одинаковое?
- То-есть что?
- Города и все...
- Ну, конечно... Все одинаково...

После многих таких разговоров мальчик стал реже и не так упорно смотреть в даль вопрошающим взглядом своих черных глаз...

Команда парохода любила его, и он любил всех этих славных ребят, коричневых от солнца и ветра, весело шутивших с ним. Они мастерили ему разные рыболовные снасти, делали лодки из древесной коры, возились с ним, катали его по реке во время стоянок, когда Игнат уходил в город по делам. Мальчик часто слышал, как поругивали его отца, но не обращал на это внимания и никогда не передавал отцу того, что слышал о нем. Но однажды, в Астрахани, когда пароход грузился топливом, Фома услышал голос Петровича, машиниста:

— Приказал вылить столько дров... тьфу, несообразный человек! Загрузит пароход по самую палубу, а потом орет... машину, говорит, портишь часто... масло, говорит, зря льешь...

Голос седого и сурового лоцмана отвечал:

— А все жадность его непомерная... дешевле здесь топливо, вот он и старается... Жаден, дьявол!

— Жаден...

Повторенное несколько раз кряду слово запало в памяти Фомы, и вечером, ужиная с отцом, он вдруг спросил его:

— Тятя!

— Ась?

— Ты жадный?

На вопросы отца он передал ему разговор лоцмана с машинистом. Лицо Игната омрачилось, и глаза гневно сверкнули.

Игнат прогнал своих хулителей, чем Фома остался доволен. Ему понравилось, что отец может всем так распоряжаться, но люди на пароходе отшатнулись от хозяйского сына.

Фоме довелось быть свидетелем того, как отец наказал своего рабочего за смелые слова.

Фома видел, как отец взмахнул рукой... раздался какой-то ляг, и матрос тяжело упал на дрова. Он тотчас же поднялся и вновь стал молча работать... На белую кору березовых дров капала кровь из его разбитого лица, он вытирал ее рукавом рубахи, смотрел на рукав и, вздыхая, молчал. А когда он шел с носилками мимо Фомы, на лице его, у переносья, дрожали две большие мутные слезы, и мальчик видел их...

Обедая с отцом, он был задумчив и поглядывал на Игната с боязнью в глазах.

— Ты что хмуришься? — ласково спросил его отец.

— Так...

— Нездоровится, может?

— Нету...

— То-то... Ты, коли что, скажи...

— Сильный ты... — вдруг задумчиво проговорил мальчик.

— Я-то? Ничего... Бог не обидел и силой.

— Ка-ак ты его давеча треснул! — тихо воскликнул мальчик, опуская голову.

Игнат нес ко рту кусок хлеба с икрой, но рука его остановилась, удержанная восклицанием сына; он вопросительно взглянул на его склоненную голову и спросил:

— Это... Ефимку, что ли?

— Да... до крови... и как шел он потом, так плакал... — вполголоса рассказывал мальчик.

— Мм... — промычал Игнат, пережевывая кусок. — Что же... жалеешь ты его?

— Жалко! — со слезами в голосе сказал Фома.

— Н-да... вишь ты что... — сказал Игнат.

Потом, помолчав, он налил рюмку водки, выпил ее и заговорил внушительно и строго:

— Жалеть его — не за что. Зря орал, ну и получил, сколько следовало... Я его знаю: он — парень хороший, усердный, здоровый и — неглуп. А рассуждать — не его дело: рассуждать я могу, потому что я — хозяин. Это непросто, хозяином-то быть... От зуботычины он не помрет, а умнее будет... Так-то... Эх, Фома! Младенец ты... и ничего не понимаешь... а надо мне учить тебя жить-то... Может, уже немного осталось веку моего на земле...

По возвращении из путешествия Фому отдали в школу.

III

Он учился не ретиво. Сразу у него нашлись два товарища — сын богатого купца, Смолин, и сын сторожа в суде, Ежов. Потом оба они сыграли роль в жизни Фомы. Смолин был деловитый, здоровый мальчик. Ежов — тщедушный, юркий, вкусивший нужды и умеющий уже брать от жизни возможные выгоды. Он помогает ленивому Фоме учиться, но требует за это гостинцев. Среди детских игр мальчики любили делать набег на чужие сады и воровать яблоки. Однажды Фома, уже пятнадцати лет от роду, попался хозяину сада, отставному штабс-капитану. Тот принял его строго, но, узнав, чей он сын, переменял тон и позволил ему уходить. Фома осмелел и заявил штабс-капитану, что тот боится его отца. Тогда штабс-капитан пожаловался Игнату.

Тому, по выслушании откровенного рассказа сына, понравилась удаля Фомы, а еще более его твердое заявление, что ничего подобного не повторится.

Товарищи Фомы, Смолин и Ежов, пошли из уездного училища в гимназию, а Фома, просидев пять лет,

...с грехом пополам окончил четыре класса и вышел из него бравым, черноволосым парнем, со смуглым лицом, густыми бровями и темным пухом над верхней губой. Большие темные глаза его смотрели задумчиво и наивно, и губы были по-детски полуоткрыты; но когда он встречал противоречие своему желанию или что-нибудь другое раздражало его, — зрачки его глаз расширялись, губы складывались плотно, и все лицо принимало выражение упрямое и решительное... Крестный, скептически усмехаясь, говорил про него:

— Для баб ты, Фома, слаще меда будешь... но пока большого разума в тебе не видать...

Игнат вздыхал при этих словах.

— Ты бы, кум, скорее пускал в оборот сына-то...

— А вот погоди...

— Чего годить? Лета два, три повертится на Волге, да и под венец его... Вон Любовь-то какая у меня...

Любовь Маякина в эту пору училась в пятом классе какого-то пансиона. Фома часто встречал ее на улице, причем она всегда снисходительно кивала ему русой головкой в щегольской шапочке. Она нравилась Фоме, но ее розовые щеки, веселые карие глаза и пунцовые губы не могли сгладить у Фомы обидного впечатления от ее снисходительных кивков ему. Она была знакома с какими-то гимназистами, и хотя между ними был Ежов, старый товарищ, но Фому не влекло к ним, и в их компании он чувствовал себя стесненным. Ему казалось, что все они хвастаются перед ним своей ученостью и смеются над его невежеством. Собираясь у Любви, они читали какие-то книжки, и если он заставал их за чтением или крикливым спором, — они умолкали при виде его. Все это отталкивало его от них. Однажды, когда он сидел у Маякиных, Люба позвала его гулять в сад и там, идя рядом с ним, спросила его с гримаской на лице:

— Почему ты такой бука... никогда ни о чем не говоришь?

— О чем мне говорить, ежели я ничего не знаю! — просто сказал Фома.

— Учись... читай книги...

— Не хочется...

— А вот гимназисты — все знают и обо всем умеют говорить... Ежов например...

— Знаю я Ежова... болтушка...

— Просто ты завидуешь ему... Он очень умный... да. Вот он кончит гимназию, — поедет в Москву учиться в университет.

— Ну, так что, — равнодушно сказал Фома.

— А ты так и останешься неучем...

— Ну, и пускай!

— Как это хорошо! — иронически воскликнула Люба.

— Я и без науки на своем месте буду, — насмешливо сказал Фома... —

И всякому ученому нос утру... пусть голодные учатся... а мне не надо...

— Фи, какой ты глупый, злой... гадкий! — презрительно сказала девушка и ушла, оставив его одного в саду. Он угрюмо и обиженно посмотрел

рел вслед ей, повел бровями, и опустив голову, медленно направился вглубь сада.

Уже он начал познавать прелесть одиночества и сладкую отраву мечтаний. Часто, летними вечерами, когда все на земле окрашивается в огненные, возбуждающие воображение краски заката, — в грудь его проникало смутное томление о чем-то непонятном ему. Сидя где-нибудь в темном уголке сада или лежа в постели, он уже вызывал пред собой образы сказочных царевен, — они являлись с лицами Любы и других знакомых ему барышень, бесшумно плавали перед ним в вечернем сумраке и смотрели в глаза его загадочными взорами. Порой эти видения возбуждали в нем прилив мощной энергии и как бы опьяняли его, — он вставал и, расправляя плечи, полной грудью пил душистый воздух; но иногда те же видения навевали на него грустное чувство, — ему хотелось плакать, но было стыдно слез, он сдерживался и все-таки тихо плакал.

Отец терпеливо и осторожно вводил его в круг торговых дел, брал с собой на биржу, рассказывал о взятых поставках и подрядах, о своих сотоварищах, описывал ему, как они «вышли в люди», какие имеют состояния теперь, каковы их характеры. Фома быстро усвоил дело, относясь ко всему серьезно и вдумчиво.

— Расцветает наш репей алым маком!.. — усмехался Маякин, подмигивая Игнату.

И все-таки, даже когда Фоме минуло девятнадцать лет, — было в нем что-то детское, наивное, отличавшее его от сверстников. Они смеялись над ним, считая его глупым; он держался в стороне от них, обиженный их отношением к нему. А отцу и Маякину, которые не спускали с него глаз, эта неопределенность характера Фомы внушала серьезные опасения.

— Не пойму я его! — сокрушенно говорил Игнат. — Не кутит он, по бабам, будто, не шляется, ко мне, к тебе — почтителен, всему внимает — красная девка, не парень, и, кажись, не глуп?

— Особой глупости не видать, — говорил Маякин.

— Поди ж ты! Как будто ждет чего-то... как пелена какая-то на глазах у него... Мать его, покойница, вот так же ощупью ходила по земле. Ведь вон Африканка Смолин на два года старше — а поди-ка ты какой! Т<о>е<сть> даже и понять трудно, кто кому теперь у них голова — он отцу, или отец ему? Учиться хочет ехать на фабрику какую-то... ругается: эх, говорит, плохо вы меня, папаша, учили... Н-да! А мой — ничего из себя не объявляет... О, Господи!

— Ты вот что, — советовал Маякин, — ты сунь его с головой в какое-нибудь горячее дело! Право! Золото огнем пробуют... Увидим, какие в нем склонности, ежели пустим его на свободу... Ты отправь его на Каму-то... одного...

— Разве что попробовать?

— Ну, напортит... потеряешь сколько-нибудь... зато будем знать, что он в себе носит?

— И впрямь, — отправлю-ка я его, — решил Игнат.

Теперь Фоме должна была учить уже сама жизнь. Он отправился по поручению отца с двумя баржами хлеба на Каму. Бар-

жи вел пароход Гордеева, на котором командовал тот самый Ефим, чье наказание так огорчило Фому в детстве.

Фома разворачивается в путешествии. Он почувствовал себя хозяином. Земский приемщик хлеба просит скинуть сколько-нибудь на утечку и телеграфировать о том отцу; при этом он неодобрительно отзывается об Игнате. Фома скидывает на утечку своей властью триста пудов и обрывает речи приемщика об отце.

Во время своей самостоятельной поездки Фома изведal впер- вые и женскую ласку.

Роман Фомы несложен. Ему понравилась красивая работни- ца, которая во время ссыпки хлеба сидела в стороне и чинила мешки.

Сердце Фомы учащенно билось. Будучи еще чистым физически, он уже знал из разговоров тайны интимных отношений мужчины к женщи- не. Он знал их под грубыми и заторными именами, эти имена возбуждали в нем неприятное, жгучее любопытство и стыд; его воображение упорно работало, но все-таки он не мог представить себе всего этого в образах, по- нятных ему. И в душе он не верил, что отношения мужчины к женщине так просты и грубы, как о них рассказывают. Когда же, смеясь над ним, его уверяли, что они именно таковы и не могут быть иными, он глуповато и смущенно улыбался, но все-таки думал, что не для всех людей сношения с женщиной обязательны в такой постыдной форме, и что, наверное, есть что-нибудь более чистое, менее грубое и обидное для человека.

Теперь, любуясь на черноглазую работницу, Фома ясно ощущал грубое влечение к ней, — ему было стыдно и страшно чего-то. А Ефим, стоя ря- дом, увещевающе говорил ему:

— Вот ты теперь смотришь на бабу... так что не могу я молчать... Она тебе неизвестна, но как она — подмигивает, то ты по молодости твоей та- кого натворишь тут, при твоем характере, что мы отсюда пешком по бере- гу пойдем... да еще ладно, ежели у нас хоть штаны целы останутся...

— Что тебе надо? — спросил Фома, красный от смущения.

— Мне — ничего не надо... А тебе — надо меня слушать... По бабьим делам я вполне могу быть учителем... С бабой надо очень просто посту- пать — бутылку водки ей, закусить чего-нибудь, потом пару пива поставь и опосля всего — деньгами дай двугривенный. За эту цену она тебе всю свою любовь окажет как нельзя лучше.

— Врешь ты все... — тихо сказал Фома.

— Я-то вру? Как же я могу врать, ежели я всю эту политику, может, до ста раз продельвал? Так что — ты поручи мне с ней дело вести... а? Я тебе сейчас с ней знакомство скручу...

— Хорошо... — сказал Фома, чувствуя, что ему тяжело дышать и что- то давит ему горло...

— Ну, вот... вечером я ее и приведу...

Одобрительно усмехнувшись в лицо Фомы, Ефим ушел.

Вплоть до вечера Фома ходил, как отуманенный, не замечая почти-тельных и заискивающих взглядов, которым смотрели на него мужики, настроенные приемщиком. Ему было жутко, он чувствовал себя виноватым перед кем-то, и всем, кто обращался к нему, отвечал приниженно-ласково, точно извинялся...

Так оно и случилось, как по писанному. Ефим привел женщину. Фома переконфузился, а когда достиг цели, то сам себе стал противен и начал гнать от себя Пелагею. Тотчас же после того они столковались и Фома взял ее себе в спутницы. Ефим пробовал возражать, но Фома прикрикнул на него по-хозяйски, пригрозил увольнением, и сделал по-своему.

Рассуждая о первой любви Фомы, Максим Горький с напускным легкомыслием высказывает: «Любовь к женщинам всегда плодотворна для мужчины, какова бы она ни была, даже если она дает только страдания — ив них всегда есть много ценного. Являясь для больного душою сильным ядом, для здорового любовь — как огонь для железа, которое хочет быть сталью».

Не знаем, существует ли у железа такое желание, но Фома Гордеев в этом моменте повествования ни больного душою из себя не представляет, ни твердости железа собою не изображает. Фома — просто физически здоровый парень, в расцвете жизненных сил, уступающий требованиям одного из могущественнейших инстинктов и сделавший очень плохой выбор заурядной бабы для своих, будто бы любовных первых восторгов.

Путешествие Фомы было прервано телеграммой его крестного отца, Маякина, который вызывал его немедля домой.

Маякин вызвал Фому ввиду того, что старый Гордеев под влиянием местной дамы-благотворительницы пожертвовал 75 000 рублей на устройство в городе ночлежного дома и народной библиотеки с читальней.

Фома, услышав об этом, подумал, что барыня — любовница отца, чем немало насмешил Маякина. София Павловна, или как ее называет Маякин, «Сонька» — Медынская, жена богача-архитектора. Она взяла в руки Игната Гордеева не своей красотой, а умением возбудить в нем честолюбие.

Фоме довелось тотчас по возвращении домой познакомиться с Медынской, которую он застал у отца. Женщина эта впоследствии сыграла в жизни Фомы главную и решающую роль.

Вскоре по возвращении Фомы отец его скоропостижно умер, и Фома стал во главе миллионного состояния.

Все, нами изложенное, занимает четвертую часть романа. Собственно самый роман еще не начинался. Фома был ребен-

ком, Фома сделал только первый опыт самостоятельной работы и деятельности.

Образ Фомы неясен настолько же, насколько определен образ его отца. Мы узнаем, что Фома — красивый, статный, физически здоровый, сильный молодой человек. Автор устами Игната Гордеева приписывает Фоме отсутствие воли и апатию, но некоторые действия Фомы не сходятся с таким определением. Мальчиком-подростком в приключении с кражей яблок у штабс-капитана, юношей — хозяином парохода в сцене подарка хлеба на утечку, в строгом обращении с Ефимом, — Фома не безволен.

Фома вырос без затей, как трава в поле. Никакого воспитания он не получил и в его младенческой, отроческой и юношеской жизни не случилось ничего такого, что могло бы служить поворотным пунктом при образовании его характера. Он не перенес никаких чрезвычайных потрясений, не имел ни выдающегося горя, ни выдающейся радости. Его лень к учению объясняется не столько его апатией, наличием которой при его здоровой и отроческой резвости должна быть отвергнута, сколько тем, что у него, богатого купеческого сына, сразу нашелся печальник и пособник за плату, Ежов.

Фома имел те удобства, которые дает богатство, но нельзя сказать, чтобы он был избалован. Отец говорит с ним вдумчиво и строго, хотя с любовью.

Фома — самый заурядный, здоровый парень. Незаурядного в нем разве то, что мать его была странной женщиной, быть может, истеричкой, хотя этого автор нам не показывает вполне ясно.

Фома, каким он является в экспозиции романа, совсем не годится в центральные лица повествования. Сделать его интересным, предназначая ему его будущую роль, в которой и заключается гвоздь романа, из-за которой и весь огород городился, — Максим Горький не озаботился. Он потратил десятки страниц на разные подробности. Они ему удавались, и он, не стесняясь ни местом, ни строгими рамками заранее обдуманного плана, шел по течению своей прихоти рассказчика и рисовал картинку за картинкой, не тревожа себя вопросом о том, на что именно нужны эти картинки в истории Фомы Гордеева.

Растратив бесплодно свое умение живописать некоторые сцены, автор переходит к изложению самостоятельной жизни Фомы Гордеева.

Тут уже становится час от часу не легче.

IV

Фома начал себя проявлять с похорон отца. К ужасу распорядителя похорон, своего крестного отца Маякина, и к великому негодованию гостей, Фома при закуске на поминальном обеде громко сказал: «Чего они жрут здесь? В трактир пришли, что ли?» Гости обиделись, а Фома не пошел обедать.

Эта выходка, а также и трагический вопрос Фомы о том, «зачем умирать надо?» — совсем не идут здоровому парню. Никогда обыкновенный купеческий сын, выросший в заветах истового русского хлебосольства, не дойдет до такой шутки. Неоткуда родиться в нем этому осуждению обычаев, которые не при нем повелись, и о которых он знал с детства. Чтобы критиковать обычный ход жизни, надо стать выше его или силою развития и просвещения, или необычайным умом. Ни тем, ни другим автор не снабдил Фому и, следовательно, приданные им Фоме выходки совершенно произвольно ему навязаны и пригодны лишь затем, чтобы потом развести заключительные сцены романа.

Фома остался под руководством и попечением Маякина. Хитрый старик учил его уму-разуму житейскому, но-учение шло ученику не впрок. На бирже он прослыл «гордецом, моллососом»; к торговле у него охоты не было и она ему не нравилась. К крестному отцу он относился двойственно. Он не мог отрицать его крупного ума, но правила Маякина его возмущали.

Зато он приобрел новое чувство. Он безгранично влюбился в Медынскую. Ему, как преемнику отца, пришлось быть и на закладке дома, основанного на гордеевские капиталы, и на заседаниях комитета Медынской. Молодая застенчивость душила его. Он не умел ничего ответить на приветливые речи Медынской, а с народного обеда, по случаю закладки дома, просто сбежал.

Но у Медынской он стал бывать.

Отношения Фомы к Медынской приняли тот характер, который роковым образом должны были принять. Его тянуло к ней, ему всегда хотелось видеть ее, а при ней он робел, становился неуклюжим, глупым, знал это и страдал от этого. Он часто бывал у нее, но ее трудно было застать дома одну; около нее всегда, как мухи над куском сахара, кружились раздушенные щеголи. Они говорили с ней по-французски, пели, хохотали, а он молчал и смотрел на них, полный злобы и зависти. Поджав ноги, он сидел где-нибудь в уголке ее пестро убранной гостиной, по которой ужасно трудно было ходить, ничего не задевая и не опрокидывая, — сидел и угрюмо наблюдал.

Пред ним по мягким коврам бесшумно мелькала она, кидая ему ласковые взгляды и улыбки, за ней увивались ее поклонники, и все они так ловко, точно змеи, обходили разнообразные столики, стулья, экраны, подставки для цветов — целый магазин красивых и хрупких вещей, разбросанных по комнате с небрежностью, одинаково опасной и для них, и для Фомы. Когда он шел, ковер не заглушал его шагов, и все эти вещи цеплялись за его шюртук, тряслись, падали. Был там около рояля бронзовый матрос, размахнувшийся, чтобы кинуть спасательный круг, на круге висели веревки из проволоки, и они постоянно дергали Фому за волосы. Все это возбуждало смех у Софьи Павловны и ее поклонников, но очень дорого стоило Фоме, бросая его то в жар, то в холод.

Но ему было не легче и наедине с ней. Встречая его ласковой улыбкой, она усаживалась с ним в одном из уютных уголков гостиной и обыкновенно начинала разговор с того, что жаловалась ему на всех:

— Вы не поверите, как я рада видеть вас.

Изгибаясь, как кошка, она заглядывала ему в глаза своим томным взглядом, в котором теперь вспыхивало что-то жадное.

— Я так люблю говорить с вами, — музыкально растягивая слова, пела она. — Все эти мне надоели... такие они скучные, обычные, изношенные. А вы вот — свежий, искренний. Ведь вы их тоже не любите?

— Терпеть не могу! — твердо ответил Фома.

— А меня? — тихонько спрашивала она.

Фома отводил глаза в сторону и, вздыхая, говорил:

— Который раз вы это спрашиваете...

— Вам трудно сказать?

— Не трудно... да зачем?

— Мне нужно знать это...

— Играете вы со мной... — угрюмо говорил Фома.

А она широко открывала глаза и тоном глубокого изумления спрашивала:

— Как играю? Что значит играть?

И лицо у нее было такое ангельское, что он не мог не верить ей.

— Люблю я вас... люблю! Разве это можно — не любить вас? — горячо говорил он, и тотчас же пониженным голосом с грустью добавлял: — Да ведь вам это не нужно!...

— Вот вы и сказали! — удовлетворенно вздыхала Медынская и отодвигалась от него подальше. — Мне всегда страшно приятно слушать, как вы это говорите... молодо, цельно... Хотите поцеловать мне руку?

Он молча схватывал ее белую, тонкую ручку и, осторожно склоняясь к ней, горячо и долго целовал ее. Она вырвала руку, улыбающаяся, грациозная, но ничуть не взволнованная его горячностью. Задумчиво, с этим всегда смущающим Фому блеском в глазах, она рассматривала его, как что-то редкое и крайне любопытное, и говорила:

— Сколько у вас здоровья, сил, душевной свежести... Вы знаете, — ведь вы, купцы, еще совершенно не жившее племя, — целое племя, с оригинальными традициями, с огромной энергией души и тела... Вот вы, например; ведь вы драгоценный камень, и если вас отшлифовать... о!

Когда она говорила: у вас, по-вашему, по-купечески, — Фоме казалось, что этими словами она как бы отталкивает его от себя. Это было и грустно, и обидно. Он молчал, глядя на ее маленькую фигурку, всегда как-то особенно красиво одетую, всегда благоухающую, как цветок, и девически нежную. Порой в нем вспыхивало дикое и грубое желание схватить ее и целовать! Но ее красота и эта хрупкость тонкого и гибкого тела ее возбуждали в нем страх изломать, изувечить ее, а спокойный, ласковый голос и ясный, но как бы подстерегающий взгляд охлаждал его порывы; ему казалось, что она смотрит прямо в душу его и понимает все думы... Эти взрывы чувства были редки, вообще же юноша относился к Медынской с обожанием, удивляясь всему в ней, — ее красоте, речам, ее одежде. И рядом с этим обожанием в нем всегда жило мучительно острое сознание его отдаленности от нее, ее превосходства над ним.

Такие отношения установились у них быстро; в две, три встречи Медынская вполне овладела юношей и начала медленно пытаться его. Ей, должно быть, нравилась власть над здоровым, сильным парнем, нравилось будить и укрощать в нем зверя только голосом и взглядом, и она наслаждалась игрой с ним, уверенная в силе своей власти. Он уходил от нее полубольной от возбуждения и уносил с собой обиду на нее и злобу на себя, много тяжелых и опьянявших его чувств. А через два дня снова являлся для пытки.

Отношения Фомы к Медынской не могли укрыться от его крестного, и однажды старик, скорчив ехидную рожу, спросил его:

— Фома! Ты почаще голову щупай, чтоб не потерять тебе ее случаем.

— Это вы насчет чего? — спросил Фома.

— А насчет Соньки... больно уж часто ты к ней ходишь.

— Что вам? — грубовато сказал Фома. — И какая она для вас Сонька?

— Мне ничего... меня не убудет от того, что тебя обложут. А что ее Сонькой зовут — это всем известно... И что она любит чужими руками жар загребать — тоже все знают.

— Она умная, — твердо объявил Фома, хмурясь и пряча руки в карманы. — Образованная...

— Умная, это верно! Образованная... Она тебя образует... Особенно шалопаи, которые вокруг нее...

— Не шалопаи, а... тоже умные люди! — злостно возразил Фома, уже сам себе противореча. — И я от них учусь... Я что? Ни в дудку, ни поплясать... Чему меня учили? А там обо всем говорят... и всякий свое слово имеет. Вы мне на человека похожим быть не мешайте.

— Фу-у! Ка-как ты говорить научился! То есть, как град по крыше, сердито! Ну, ладно, будь похож на человека... только для этого безопаснее в трактор ходить; там человеки все же лучше Софьиных... А ты бы, парень, все-таки учился бы людей-то разбирать, который к чему... Например — Софья... Что она изображает? Насекомая для украшения природы и больше ничего!

Возмущенный до глубины души, Фома стиснул зубы и ушел от Маякина, еще глубже засунув руки в карманы.

Медынская, эта «насекомая для украшения природы», недостаточно разработана автором, хотя она того заслуживала. Это, правда, довольно часто встречающийся тип провинциальной скучающей барышни, которая иногда занимается делами благотворения, иногда любительскими спектаклями, иногда спиритизмом, иногда всем этим вместе или ничем из этого, но непременно ищет любовных утех, сначала в виде легкого флирта, а затем и более серьезных повреждений домашнего очага. Такие барыни всегда непоняты мужем и считают мужа стоящим ниже себя, им чего-то не хватает в жизни, их сердце жаждет «чистого чувства» и, перевешивая его с одного предмета на другой, они не знают, кого они любят, свое ли чувство или реальное воплощение своих грез в виде Ильи, Фомы, Ивана и т. д. Предметами этих барынь бывают все и каждый, от гимназиста до старика, красивые, некрасивые, умные и глупые. Они любят говорить о своих новых чувствах со своими прежними поклонниками и любят туманно и недосказанно каяться в своих прегрешениях. Тип, повторяем, обиденный и в достаточной мере отвратительный.

Маякин в беседе с Фомой закидал грязью его кумира.

Маякин, бросив в грязь Медынскую, тем самым сделал ее более доступною для крестника, и скоро Фома понял это. И как-то незаметно для себя он вдруг понял и решил, что ему следует пойти к Софье Павловне и прямо, просто сказать ей, чего он хочет от нее, — вот и все! Он даже какую-то радость ощутил при этом решении и пошел к Медынской, весело думая по дороге лишь о том, как бы получше, полочнее сказать ей то, что нужно.

Прислуга Медынской привыкла к его посещениям и на вопрос его — дома ли барыня? — громко сказала:

— Пожалуйста в гостиную... они одни там.

Он оробел немножко... но, увидав в зеркале свою статную фигуру, красиво обтянутую сюртуком, и смуглое свое лицо в рамке пушистой черной бородки, серьезное, с большими, темными глазами, — приподнял плечи и уверенно пошел вперед через зал.

Он остановился у дверей в гостиную.

Дверь была завешана длинными нитями разноцветного бисера, нанизанного так, что он образовал причудливый узор из каких-то растений: нити тихо колебались, и казалось, что в воздухе летают бледные тени цветов. Эта прозрачная преграда не скрывала от глаз Фомы внутренность гостиной. Медынская, сидя на кушетке в своем любимом уголке, играла на мандолине.

Юноша кашлянул.

— Кто это? — тревожно вздрогнув, спросила женщина.

И струны вздрогнули, издав тревожный звук.

— Это я, — сказал Фома, откидывая рукой нити бисера.

— А! Но как вы тихо... Рада видеть вас... Садитесь!.. Почему так давно не были?

Протягивая ему руку, она другой указывала на маленькое кресло около себя, и глаза ее улыбались радостно.

— Ездил в затон, пароходы свои смотреть, — говорил Фома с преувеличенной развязностью, подвигая кресло ближе к кушетке.

— Что, в полях еще много снега?

— Сколько вам угодно... Но уже здорово тает. По дорогам — вода везде...

Он смотрел на нее и улыбался. Должно быть, Медынская заметила развязность его поведения и новое в его улыбке, — она оправила платье и отодвинулась от него. Их глаза встретились, — и Медынская опустила голову.

— Тает, — задумчиво сказала она, разглядывая кольцо на своем мизинце.

— Н-да... ручьи везде, — любуясь своими ботинками, сообщил Фома.

— Это хорошо... Весна придет...

— Уж теперь не задержит...

— Придет весна, — повторила Медынская негромко и как бы вслушиваясь в звук слов.

— Влюбляться станут люди, — усмехнувшись, сказал Фома, и зачем-то крепко потер руки.

— Вы собираетесь? — сухо спросила Медынская.

— Мне нечего... я давно готов... влюблен уж на всю жизнь...

И Фома подвинулся к женщине, широко и смущенно улыбаясь. Она мельком взглянула на него и снова начала играть, глядя на струны и задумчиво говоря:

— Весна... Как это хорошо, что вы только еще начинаете жить... Сердце полно силы... и нет в нем ничего темного...

— Софья Павловна! — тихо воскликнул Фома.

Она ласковым жестом остановила его.

— Подождите, голубчик!... Сегодня я могу сказать вам... что-то хорошее... Знаете, у человека, много прожившего, бывают минуты, когда он, заглянув в свое сердце, неожиданно находит там... нечто давно забытое. Оно лежало где-то глубоко на дне сердца годы... но не утратило благоухания юности, и когда память дотронется до него... тогда на человека повеет весной... живительной свежестью утра дней... Это хорошо... хотя очень грустно.

Она еще продолжает ту же канитель туманных и туманных слов. Он прерывает ее:

— Софья Павловна! Будет уж!... Мне надо говорить... Я пришел сказать вам вот что: будет! Надо поступить прямо... открыто... Привлекали вы меня к себе сначала... а теперь вот отгораживаетесь от меня чем-то... Я не пойму, что вы говорите... У меня ум глухой... но я ведь чувствую — спрятать себя вы хотите... я ведь вижу, — понимаете вы, с чем я пришел!

Его глаза разгорались, и с каждым словом голос становился горячей и громче. Она качнулась всем корпусом вперед и тревожно сказала:

— О, перестаньте...

— Нет, уж — буду говорить!

— Я знаю, что вы хотите сказать...

— Не все вы знаете! — с угрозой сказал Фома, вставая на ноги. — А вот я все знаю про вас — все!

— Да? Тем лучше для меня... — спокойно проговорила Медынская. Она тоже встала с кушетки, как бы желая уйти куда-то, но, постояв секунды две, снова опустилась на свое место. Лицо у нее было серьезное, губы плотно сжаты, но глаза она опустила, и Фома не видел их выражения. Он думал, что когда скажет ей: — я все знаю про вас, — она испугается, ей будет стыдно и, смущенная, она попросит у него прощения за то, что играла с ним. Тогда он крепко обнимет ее и простит. Но этого не вышло; он сам смутился пред ее спокойствием, смотрел на нее, искал слов, чтобы продолжать свою речь, и не находил их.

— Тем лучше, — повторила она сухо и твердо. — Так вы узнали все, да! И, конечно, осудили меня... как и следовало... Я понимаю... я виновата пред вами... Но... нет, я не могу оправдываться...

Она замолчала и вдруг, нервным жестом подняв руки вверх, схватилась за голову... и стала оправлять волосы...

Фома глубоко вздохнул. Слова Медынской убили в нем какую-то надежду, — надежду, присутствие которой в сердце своем он ощутил лишь теперь, когда она была убита. И с горьким упреком, покачивая головой, он сказал:

— Бывало, смотрел я на вас и думал: экая она красивая... хорошая... голубка... А вы вот сами говорите — виновата... эхма!

Голос парня оборвался. А женщина тихонько засмеялась.

— Какой вы славный и смешной... И как жаль, что вы не... можете понять... все это!

Понять даже и для Фомы нетрудно, но Софья Павловна начинает ему пояснять:

— Жизнь очень строга... Она хочет, чтоб все люди подчинялись ее требованиям, и только очень сильные могут безнаказанно сопротивляться ей... Да и могут ли? О, если б вы знали, как тяжело жить... Человек доходит до того, что начинает бояться за себя... он раздвоится на судью и преступника, и судит сам себя, и ищет оправдания перед собой... и он готов и день и ночь быть с тем, кого презирает, кто противен ему, — лишь бы не быть наедине с самим собой?

И затем, по обычаю этих дам, высказывает:

— Вы слышите, как я говорю с вами? Я хотела бы быть вашей матерью, сестрой... Никогда никто не вызывал во мне такого теплого, родного чувства, как вы... А вы смотрите на меня так недружелюбно... Верите вы мне? Да? Нет?

Он посмотрел на нее и сказал, вздыхая:

— Уж не знаю я... Верил я...

— А теперь? — быстро спросила она.

— А теперь — уйти мне лучше! Не понимаю я ничего... а хочется понять. И себя я не понимаю... Шел я к вам и знал, что сказать... А вышла какая-то путаница... Наташили вы меня на рожон, раззадорили... А потом говорите — я тебе мать! Стало быть — отвяжись!

— Поймите, — мне жалко вас! — тихо воскликнула женщина.

Раздражение против нее все росло у Фомы, и по мере того, как он говорил, речь его становилась насмешливой... И, говоря, он все встряхивал плечами, точно рвал что-то, опутавшее его.

— Жалко?.. Зачем же! Этого мне не надо... Эх, говорить я не могу! Плохо мне, бессловесному-то... Но — сказал бы я вам!.. Не хорошо вы со мной сделали, — зачем, подумаешь, завлекали человека? Аль я вам игрушка?

— Мне только хотелось видеть вас около себя, — сказала женщина просто и виноватым голосом.

Он не слышал этих слов.

— А как дошло до дела, — испугались вы и отгородились от меня. Каяться стали... Ха! Жизнь плохая! И что вы все на жизнь какую-то жалуетесь? Какая жизнь? Человек — жизнь, и кроме человека никакой еще жизни нет... А вы еще какое-то чудовище выдумали... и это вы — для отвода глаз, для оправдания себя... Набалуете, заплутаетесь в разных выдумках да пустяках и — стонать! Ах, жизнь! Ох, жизнь! А не сами вы ее сделали? и себя жалобами прикрывая, — других смущаете... Ну, сбились вы с дороги, а меня зачем сбивать? Злость, что ли, это в вас: дескать, — мне плохо, пусть и тебе будет плохо, — на же, я тебе сердце ядовитой слезой окроплю! Так, что ли? Эх, вы! Красоту вам Бог дал ангельскую, а сердце где у вас?

Он вздрагивал весь, стоя против нее, и оглядывал ее с ног до головы укоризненным взглядом. Теперь слова выходили из груди у него свободно, говорил он негромко, но сильно, и ему было приятно говорить. Женщина, подняв голову, всматривалась в лицо ему широко открытыми глазами. Губы у нее вздрагивали, и резкие морщинки явились на углах их.

— Красивый человек и жить хорошо должен... А про вас вон говорят...

Голос Фомы оборвался и, махнув рукой, он глухо закончил:

— Прощайте!

— Прощайте!.. — тихонько сказала Медынская.

Он не подал ей руки и, круто повернувшись, пошел прочь от нее. Но уже у двери в зал почувствовал, что ему жалко ее, и посмотрел на нее через плечо. Она стояла там, в углу, одна, и руки неподвижно лежали вдоль туловища, а голова была склонена.

Он понял, что нельзя ему так уйти, смутился и тихо, но без раскаяния проговорил:

— Может, я обидное сказал — простите! Все-таки я ведь... люблю вас... — и тяжело вздохнул.

А женщина тихонько и странно засмеялась...

— Нет, вы не обидели меня... идите с Богом.

— Ну, так прощайте! — повторил Фома еще тише.

— Да... — также тихо ответила женщина.

Фома отбросил рукой нити бисера: они колыхнулись, зашуршали и коснулись его щеки. Он вздрогнул от этого холодного прикосновения и ушел, унося в груди смутное и тяжелое чувство, и сердце в нем билось так, как будто на него накинута была мягкая, но крепкая сеть...

От этого события жизнь Фомы вся изломалась. Он начал необузданно пить и безобразничать. В кутежах доходил иногда почти до потопления на реке всей компании. Описанию этих кутежей Горький уделяет очень много места. Фома является уже не тем, каким он казался читателю в начале романа. Это уже — настоящий купеческий саврас, без узды, не знающий себе удержу, грубый, отвратительный. Автор местами то так, то этак намекает, что в Фоме что-то таится, но намеков этих ничем не подтверждает и в Фоме, видимо, ровно ничего не таится, так как такое проявление, как беспардонный кутеж с арфисткой в течение месяца и более ровно ничего не доказывает, даже при том условии, что арфистка изображена каким-то воплощением трагической тоски и разочарования.

Мы не знаем, как понимает Максим Горький перелом в жизни Фомы, а по нашему — нравственное падение его. Но из изложения автора, из фактов его романа вытекает, что перелом произошел от неудовлетворенности чувства к Софии Павловне. Это бывает. Бывает, что одна неудачная любовная история ломает навсегда человеческую жизнь, но случаются такие приключения не с Фомами Гордеевыми, здоровыми крепышами от народного корня, а с дряблыми, изнеженными из поколения в поколение неврастениками, которых и комар крылом убьет и бабье издевательство в Манфреда *sui generis** превратит.

Это соображение не пришло, очевидно, Горькому в голову. Описав с достаточной достоверностью сцену между Медынской и Фомой, Горький не вник в то, что Фома не годится на предложенную ему роль. В том положении, в какое поставил автор Фому, такой Фома в жизни пошел бы напролом и наговорил бы Медынской крепких простых слов и беседа их окончилась бы иначе, чем ее проектирует Горький.

Для нашего автора, собственно, было нужно какое-либо потрясение, которое вывело бы Фому из колеи, потому что только Фома, сбитый окончательно с толку, мог пригодиться Горькому для пришития к нему, хотя бы и белыми нитками, финальной проповеди, ради которой, надо думать, и писался весь роман.

* своего рода (лат.). — Ред.

Нужды нет, что истинный художник отшатнулся бы от такого случайного и притом искусственного приема. Прием, по мнению автора, достигает намеченной цели, а это — все, что ему нужно. Горький не замечает, что Медынская есть чуждый элемент, втиснутый насильно в повествование. Гораздо было проще пользоваться первоначальными элементами драмы и из них взять коллизию и развязку. Например, можно было сделать так. Превосходство Любви Маякиной угнетает Фому. Если бы он полюбил эту подругу детства, которую ему, кстати, готовили в жены, и был ею осмеян и отвергнут; если бы школьный товарищ Фомы, Смолин, за которого Любовь выходит замуж, появился не в конце романа, а после смерти старого Гордеева, — то тут был бы материал и для драмы. Вид товарища, получившего дома и за границей солидное техническое образование, должен был возбудить рой мыслей и чувств в Фоме: и самолюбие, и зависть, и сожаление об упущенном, и напускное презрение к знаниям, и ревность, и обиду. Если бы при таких условиях Фома начал дурить и безобразничать, то его перерождение стало бы много понятнее и много естественнее.

Мы не навязываем автору своего мнения, мы не берем ничего нового, а говорим лишь о более правильной группировке элементов, автором же намеченных. При такой коллизии и Ежов, ставший едким, но пьяным провинциальным фельетонистом, нашел бы себе настоящее место, а ныне и он, и Смолин не нужны для развития душевной драмы Фомы и приткнуты к роману, озаглавленному именем Фомы Гордеева, т. е. к роману, занимающему преимущественно им, совершенно произвольно. Из лиц действующих и Ежов, и Смолин обращены автором в лица эпизодические, без пользы загромождающие основную тему.

Но как оно есть, так и останется. Все это доказывает лишь бессилие Горького создать большое произведение и его желание вместить в повествование как можно более лиц, как будто ему хочется сразу поболее высказать.

V

Теперь остается самая главная часть романа, его конец. Фома безобразничает без конца. Поведение его обращает на себя внимание Маякина, который, имея от крестника полную уверенность, ведет все его дела. Маякин перехватывает Фому в одном из волжских городов и убеждает его одуматься. Фома

издевается над стариком, грозит все прокутить. Тогда и Маякин резко заявляет Фоме, что устроит признание его сумасшедшим и посадит его в дом для умалишенных.

Для приведения своей угрозы в исполнение Маякин своим влиянием закрывает Фоме кредит по банкам, а деньги снимает с текущего счета. Фоме это, однако, не мешает продолжать пьянствовать. Компании у него случайные, сбродные. Тут и актеры без места, и пропившиеся купцы, и встречный, и поперечный.

В пьяном угаре Фома начинает философствовать. Он проповедует, например, заплетающимся языком компании так:

Я так понимаю: одни люди — черви, другие — воробьи... Воробьи — это купцы... Они клюют червей... Так уж им положено... Они — нужны... А я... и все вы — ни к чему... Мы живем без сравнения... и без оправдания... совсем — зря... И совсем не нужно нас... Но и те... и все... — для чего? Это надо понять... Братцы!.. Мы все — лопнем... ей-Богу! А от чего — лопнем? Оттого что... лишнее все в нас... в душе лишнее... и вся жизнь наша — лишняя! Братцы! Я плачу... на что меня нужно? Не нужно меня!.. Убейте меня... чтоб я умер... Хочу, чтобы я умер...

Яд сомнения в пригодности жизни все более всасывается в Фому, и ему уже не поможет никакая житейская мудрость крестного.

Гораздо более влияния на Фому имел его школьный товарищ Ежов, фельетонист. Этот тоже пьющий, маленький, болезненный человек, весь полон протестов против всего. Он хронически кипит негодованием и при беседах с Фомою высказывает ему обрывки своих мыслей.

Идти шаг за шагом за кутежами и пьянством Фомы и за проповедью Ежова нет возможности, да и надобности для нашей цели нет. М. Горький в этих описаниях не блещет разнообразием. Когда, прочитав роман, вы начинаете вновь его перелистывать, отыскивая знакомое место, то иногда вам кажется, что вы уже нашли то, что вам нужно, а на деле выйдет, что это не то самое, а лишь сходственное. Такое топтание автора на одном месте, без надлежащего, ускоряющегося перед развязкой, развития действия, делает роман в некоторых местах нестерпимо скучным.

Некоторые части проповеди пьяного Ежова, высказываемые им пьяному же Фоме, характерны для определения авторских целей.

Фома задает Ежову вопрос: «Что нужно делать, чтобы спокойно жить... т. е. чтобы собою быть довольным».

Маякин на это ответил бы, руководясь здравым смыслом: «Не пьянствовать, не дебоширить, заниматься своим делом, которое, совсем готовое, досталось от отца».

Ежов отвечает иначе. Он говорит:

— Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь недоступное тебе... Человек становится выше ростом от того, что тянется кверху...

Люди низки, потому что стремятся к сытости... Сытый человек — животное, ибо сытость есть самодовольство тела... И самодовольство духа обращает человека в животное...

Самодовольный человек — это затвердевшая опухоль на груди общества... это мой заклятый враг. Он набивает себя грошевыми истинами, обгрызанными кусочками затхлой мудрости, и существует как чулан, в котором скупая хозяйка хранит всякий хлам, совершенно ненужный ей, ни на что не годный... Дотронешься до такого человека, отворишь дверь в него, и на тебя пахнет вонью разложения, и в воздух, которым ты дышишь, вольется струя какой-то затхлой дряни... Эти несчастные люди именуются людьми твердыми духом, людьми принципов и убеждений... и никто не хочет заметить, что убеждения для них — только штаны, которыми они прикрывают нищенскую наготу своих душ. На узких лбах таких людей всегда сияет всем известная надпись: спокойствие и умеренность, — фальшивая надпись! Потри лбы их твердой рукой, и ты увидишь истинную вывеску, — на ней изображено: ограниченность и туподушие!..

Сколько видел я таких людей! Сколько развелось в жизни этих мелких лавочек! В них найдешь и коленкор для саванов, и деготь, леденцы и буру для истребления тараканов, — но не отыщешь ничего свежего, горячего, ничего здорового! К ним приходишь с больной душой, истомленный одиночеством, приходишь с жаждой услышать что-нибудь живое... Они предлагают тебе какую-то теплую жвачку, пережеванные ими книжные мысли, прокисшие от старости... И всегда эти сухие и жесткие мысли настолько мизерны, что для выражения их потребно огромное количество звонких и пустых слов. Когда такой человек говорит, мне кажется: вот сытая, но опоенная кляча, увешанная бубенчиками, — везет воз мусора за город и — несчастная! — довольна своей судьбой...

— Тоже, значит, лишние люди... — сказал Фома.

Ежов остановился против него и с едкой улыбкой на губах сказал:

— Нет, они не лишние, о, нет! Они существуют для образца... для указания, чем человек не должен быть... Собственно говоря, место им в анатомических музеях, где хранятся всевозможные уроды, различные болезненные отклонения от гармоничного... В жизни, брат, ничего нет лишнего... в ней даже я нужен! Только те люди, в душах которых поселилась раба трусость перед жизнью, у которых в груди на месте умершего сердца — огромный нарыв мерзейшего самообожания, — только они — лишние... но и они нужны, хотя бы для того, чтобы я мог излить на них мою ненависть...

Весь день, вплоть до вечера, кипятился Ежов, изрыгая хулу на людей, ненавистных ему, и его речи заражали Фому своим злым пылом, — заражали, вызывая у парня боевое чувство.

Метафор тут бездна. М. Горький до них охотник. В устах фельетониста Ежова все эти метафоры еще туда-сюда, пожалуй, и у места, но М. Горький безразлично вкладывает их и в уста Фомы, и, в других своих произведениях, в уста первого встречного босяка, т. е. в уста людей, которые именно так говорить не могли. Отсюда вывод: за каждым действующим лицом у Максима Горького, если лицо это заявляет какой-либо протест, надо искать суждения самого автора. Речи Ежова, как и все такие речи у автора, легко разбиваются на отдельные предложения вроде: «Самодовольный человек — это затвердевшая опухоль на груди общества»; «сколько развелось в жизни мелочных лавочек! В них находишь коленкор для саванов, и деготь, леденцы и буру для истребления тараканов, — но не отыщешь ничего свежего, горячего, ничего здорового!»; «люди низки, потому что стремятся к сытости...» и т. д.

Все это не ново и все это в достаточной мере односторонне и пошло. Максим Горький, разыскивая протестующих, ни разу не потщился выставить трудового, хотя бы заурядного, но достойного уважения человека, который своим протестом обнажил бы язвы общественные. Проповедники у Максима Горького непременно пьяницы. Их проповедь сдобрена хмельным угаром. Это даже удобно с разных сторон. Во-первых, можно всегда отговориться: я, мол, писал объективно и чем же я виноват, если по развитию характера такого-то лица, он должен был в пьяном виде сказать то-то и то-то; во-вторых, пьяная речь свободнее и ей можно навязать даже самую кровавую проповедь, которая для кого следует будет проповедью, а для прочих пьяным бредом и преувеличением. Под таким соусом легче поднести свое учение терпеливому читателю.

Протест из уст падших еще по одной причине должен предпочитаться Горьким. Его обличения касаются не язв общества, не его недостатков. Они направлены против самого общественного строя. А подобный протест уже совершенно не подходил бы лицу серьезному, уравновешенному.

Естественно рождается вопрос: «Неужели правда только по вине и неужели необходимо напиться, чтобы начать “глаголом жечь сердца людей”»? По Максиму Горькому, помимо его воли, оно так и выходит.

Автор наш оставляет без всякого решения вопрос о том, на каком основании зиждется право его проповедников изрекать истины и поучать. Взять хоть бы того же Ежова. Скверный по инстинктам еще в детстве человек, он пробился на дорогу, прошел гимназию, поступил в университет, но там сбился с пути.

Никто в этом, кроме Ежова, не виноват, и ему было бы самым подходящим каяться в своих грехах и ошибках, когда вино развязывает ему язык. Но М. Горький за битого дает двух небитых. Только падший человек ему пригоден, только ему он влагает в уста свои задушевные мысли, и чувства, и общественные вождедения.

Упускается из виду только одно: худо или хорошо общество и его строй, но от века существуют, слагались мало-помалу, шаг за шагом. Все эти протестующие родились в этом же обществе, оно взрастило их и поставило на дорогу. Слабость воли, увлечения, ошибки, вовремя не исправленные, довели человека до нравственного падения. Ему бы подняться, одуматься, а он катится по наклонной плоскости и начинает всячески поносить и ругать тот котел, из которого кормился, тот кров, который давал ему приют. Всякая такая брань не изменит недостатков и недочетов общества, она не заставит даже на них оглянуться. Очень уж она не авторитетна. К чему же она?

И приходится прийти к тому убеждению, что автору вовсе не желательны даже исправления общественных недочетов. Ему нужно возбудить неудовольствие против всякого гражданского строя, пускай неудовольствие неопределенное, не вложенное в рамки тех или иных требований, — неудовольствие во что бы то ни стало. Это обычный прием всех настоящих разрушителей и революционеров. Реформатор строит свою теорию взамен существующего, разрушитель хлопочет лишь о разрушении. Ему любо низвергать все, не его дело, что на этих развалинах, когда и кто построит.

При таком условии не все ли равно, кто будет хулить все существующее: воинствующий босяк Орлов, мечтательный босяк Коновалов, пропившийся фельетонист Ежов, или купецкий сын, самодур-неудачник, несуразный Фома Гордеев.

Все эти Орловы, Коноваловы, Ежовы, Гордеевы только аксессуары, гарнир к горькому блюду похода на существующий строй. Без них проповедь Максима Горького была бы похожа на прокламацию, призывающую к насильственным действиям, и йе могла бы получить желаемого автором распространения. А в том виде, как проповедь эта преподнесена теперь, она легко усваивается читателем сквозь призму повествовательного приема.

Иногда проповедь переходит прямо в призывный клич. Ежов вопиет, например, так:

— Я собрал бы остатки моей истерзанной души и вместе с кровью сердца плюнул бы в рожи нашей интеллигенции, чер-рт ее побери! Я бы им сказал: букашки! вы, лучший сок моей страны! Факт вашего бытия опла-

чен кровью и слезами десятков поколений русских людей, о! гниды! Как вы дорого стоите своей стране! Что же вы делаете для нее? Превратили ли вы слезы прошлого в перлы? Что дали вы жизни? Что сделали? Позволили победить себя? Что делаете? Позволяете издеваться над собой...

Он в ярости затопал ногами и, сцепив зубы, смотрел на Фому горящим, злым взглядом, похожим на освирепевшее хищное животное.

— Я сказал бы им: вы! Вы слишком много рассуждаете, но вы мало умны и совершенно бессильны и — трусы вы все! Ваше сердце набито моралью и добрыми намерениями, но оно мягко и тепло, как перина, дух творчества спокойно и крепко спит в нем, и оно не бьется у вас, а медленно покачивается, как люлька. Окунув перст в кровь сердца моего, я бы намазал на их лбах клейма моих упреков, и они, нищие духом, несчастные в своем самодовольстве, страдали бы... о, уж тогда страдали бы! Бич мой тонкий, и тверда рука! И я слишком люблю, чтоб жалеть! Они страдали бы! А теперь они — не страдают, ибо слишком много, слишком часто и громко говорят о своих страданиях! Лгут! Истинное страдание молчаливо, а истинная страсть не знает преград себе!.. Страсти, страсти! Когда они возродятся в сердцах людей? Все мы несчастны от бесстрастия...

— Я скажу им, этим несчастным бездельникам: смотрите! Жизнь идет и оставляет вас сзади себя!

— Эх! Здорово! — воскликнул Фома с восхищением и завозился на диване. — Герой ты, Николай! Валяй их! Сыпь в глаза прямо!

Но Ежов не нуждался в поощрении, он, казалось, даже не слышал восклицаний Фомы и продолжал:

— Я знаю меру сил моих, я знаю — мне закричат: молчать! Мне скажут: цыц! Скажут умно, скажут спокойно, издеваясь надо мной, с высоты величия своего скажут... Я знаю — я маленькая птичка, о, я не соловей! Я неуч по сравнению с ними, я только фельетонист, человек для потехи публики... Пускай кричат и оборвут меня, пускай! Пощечина упадет на щеку, а сердце все-таки будет биться! И я скажу им: да, я неуч! И первое мое преимущество пред вами есть то, что я не знаю ни одной книжной истины, коя для меня была бы дороже человека! Человек есть вселенная, и да здравствует вовеки он, носящий в себе весь мир! А вы, скажу я, вы ради слова, в котором, может быть, не всегда и есть содержание, понятное вам, — вы зачастую ради слова наносите друг другу язвы и раны, ради слова брызжете друг на друга желчью, насилуете душу... За это жизнь сурово взыщет с вас, поверьте, разразится буря, и она сметет и смоев вас с земли, как дождь и ветер пыль с дерева! На языке людском есть только одно слово, содержание коего всем ясно и дорого, и когда это слово произнесут, оно звучит так: свобода!

— Круши! — взревел Фома, вскочив с дивана и хватая Ежова за плечи.

VI

Фома, наслушавшись зажигательных речей, видимо, и решил крушить. Он тоже вносит лепту в проповедь Горького.

Ссора с Маякиным не прервала сношений крестного отца и крестника. Маякин требует, чтобы Фома был на пиршестве купца Кононова по случаю освящения его нового парохода.

Фома поехал. Отслужили молебен, тронулся новый пароход по Волге. Началось пиршество. Фома не пил и не ел, за каждым из гостей он знал темное дело, преступление. Он злился и тяжелое похмелье играло не последнюю роль в его злобе.

Маякин произнес речь во славу созидającego купечества. Все были довольны друг другом, все эти купцы: Кононов, Юшков, Резников и другие.

Вдруг раздался громкий возглас, покрывший все звуки:

— А! Это вы? Ах вы...

И вслед за тем в воздухе отчетливо раздалось площадное ругательство, произнесенное с великой злобой и глухим, но сильным голосом. Все сразу услышали его и на секунду замолчали, отыскивая глазами того, кто обругал их. В эту секунду были слышны только тяжелые вздохи машины да скрип рулевых цепей...

— Это кто лаетея? — спросил Кононов, нахмурив брови...

— Эх! Не можем не безобразить! — сокрушенно вздыхая, произнес Резников.

— Кто это зря выругался?..

Лица купцов отражали тревогу, любопытство, удивление, укоризну, и все люди как-то бестолково замаялись. Только один Яков Тарасович был спокоен и даже как будто доволен происшедшим. Поднявшись на носки, он смотрел, вытянув шею, куда-то на конец стола, и глазки его странно блестели, точно там он видел что-то приятное для себя.

— Гордеев... — тихо сказал Иона Юшков...

И все головы поворотились по тому направлению, куда смотрел Яков Маякин.

Там, упираясь руками в стол, стоял Фома. С лицом, искаженным злобой, оскалив зубы, он молча оглядывал купечество горящими, широко раскрытыми глазами. Нижняя челюсть у него тряслась, плечи вздрагивали, и пальцы рук, крепко вцепившись в край стола, судорожно царапали скатерть. При виде его по-волчьи злого лица и этой гневной позы, купечество вновь замолчало на секунду.

— Что вытаращили зенки? — спросил Фома и вновь сопроводил вопрос свой крепким ругательством.

— Упился! — качнув головой, сказал Бобров.

— И зачем его пригласили? — тихо шептал Резников.

— Фома Игнатьевич! — степенно заговорил Кононов. — Безобразить не надо... Ежели... тово... голова кружится, — поди, брат, тихо, мирно в каюту и — ляг! ляг, милый, и...

— Цыц, ты! — зарычал Фома, поводя на него глазами. — Не смей со мной говорить! Я не пьян... я всех трезвее здесь! Понял!

— Да ты погоди-ка, душа... тебя кто звал сюда? — покраснев от обиды, спросил Кононов.

— Это я его привел! — раздался голос Маякина...

— А! Ну, тогда... конечно... Извините, Фома Игнатьевич... Но как ты его, Яков, привел... тебе его и укротить надо... А то — нехорошо...

Фома молчал и улыбался. И купцы молчали, глядя на него.

— Эх, Фомка! — заговорил Маякин. — Опять ты позоришь старость мою...

— Папаша крестный! — оскаливая зубы, сказал Фома. — Я еще ничего не сделал, значит, рано мне рацеи читать... Я не пьян... я не пил, а все слушал... Господа купцы! Позвольте мне речь держать? Вот уважаемый вами мой крестный говорил... а теперь крестника послушайте...

— Какие речи? — сказал Резников. — Зачем разговоры? Сошлись повеселиться...

— Нет уж, ты оставь, Фома Игнатьевич...

— Лучше выпей чего-нибудь...

— Выпьем-ко! Ах, Фома... славного ты отца сын!

Фома оттолкнулся от стола, выпрямился и, все улыбаясь, слушал ласковые, увещевающие речи. Среди этих солидных людей он был самый молодой и красивый. Стройная фигура его, обтянутая сюртуком, выгодно выделялась из кучи жирных тел с толстыми животами. Его смуглое лицо с большими глазами было правильнее и свежее обрюзглых красных рож, стоявших против него с выражением ожидания и недоумения. Он выпятил грудь вперед, стиснул зубы и, распахнув полы сюртука, сунул руки в карманы...

— Лестью да лаской вы мне теперь рта не замажете! — сказал он твердо и с угрозой. — Будете слушать или нет, а я говорить буду... Выгнать здесь меня некуда...

Он качнул головой и, приподняв плечи, объявил спокойно:

— Но ежели кто пальцем тронет — убью! Клянусь Господом Богом... сколько могу — убью!

— Ха-ха-ха! Строители жизни! — продолжал Фома. — Гуцин, подаешь ли милостыню племяшам-то? Подавай хоть по копейке в день... не мало — шестьдесят семь тысяч украл ты у них... Бобров! Зачем на любовницу наврал, что обокрала она тебя, и в тюрьму ее засадил? Коли надоела — сыну бы отдал... все равно он теперь с другой твоей шашни завел... А ты не знал? Эх, свинья толстая... ха-ха! А ты, Луп — открой опять веселый дом, да и лупи там гостей, как липки... Потом тебя черти облупят, ха-ха!.. С такой благочестивой рожей хорошо мошенником быть!.. Кого ты убил тогда, Луп?

— Робустов! — кричал Фома. — Что смеешься? Чему рад? Быть и тебе на каторге...

— Ссадить его на берег! — вдруг заорал Робустов, вскакивая на ноги.

— Зубов! — кричал Фома. — Сколько ты людей по миру пустил? Снится тебе Иван Петров Мякинников, что удавился из-за тебя? Правда ли, что каждую обедню ты из церковной кружки десять целковых крадешь?

Над общим гулом голосов раздавался громкий, каркающий голос Фомы:

— Вы не жизнь строили — вы помойную яму сделали! Грязищу и духоту развели вы делами своими. Есть у вас совесть? Помните вы Бога? Пятак — вот ваш бог! А совесть вы прогнали... Куда вы ее прогнали? Кровапийцы! Чужой силой живете... чужими руками работаете! За все это заплатите вы!.. Издыхать будете — все зачтется вам! Все — до капельки слез... сколько народу кровью плакало от великих дел ваших? И в аду вам, сволочам, места нет по заслугам вашим... Не в огне, а в грязи кипящей варить вас будут. Веками не избудете мучений... Бросят черти вас в котлы и нальют туда...ха-ха-ха! нальют! ха-ха-ха! Почтенное купечество... строители жизни... о, дьяволы!..

Фома залился громким хохотом и, схватившись за бока, закачался на ногах, высоко вскинув голову.

В этот момент несколько человек быстро перемигнулись, сразу бросились на Фому и сдавили его своими телами... Началась возня...

Фому связали и отвезли по возвращении в город в сумасшедший дом. И правильно поступили, так как по всему видно, что он от пьянства дошел до белой горячки. Потом Маякин препроводил его к родным матери за Урал. Когда Фома вернулся в родной город, там произошло множество перемен. Любовь Маякина вышла замуж за школьного товарища Фомы Смолина. Ежова выслали из города. К Маякину вернулся сын Тарас, который, перегорев в нигилизме, сделался дельцом-работником. Маякин умер. Смолин и Тарас основали торговый дом.

На Фому все смотрели как на юродивого. Он, грязно одетый, измятый, полоумный, шатался по городу, служа предметом общей насмешки.

На этом и кончается роман.

VII

Данный нами очерк вполне подтверждает высказанное выше мнение, что Максим Горький как создатель большого произведения стоит весьма низко. Он прямо не умеет за такое дело взяться.

Как тип Фома Гордеев ровно ничего собою не представляет. Самый характер его не выдержан и весь складывается из произвольно придаваемых ему автором черт. Ни наследственных, ни лежащих в воспитании причин, которые сделали бы из Фомы, каким он нам был показан мальчиком, того Фому, которого мы видим затем взрослым, автор нам не дал. Наоборот, он дал нам почувствовать в юноше Фоме волю, хотя и на почве некоторого самодурства.

Не было в жизни Фомы и катастрофы, которая перевернула бы его. Приключение с Медынской никоим образом, как указано выше, роли этой сыграть не могло.

Другой роман Горького «Трое» еще богаче недостатками, нами замеченными в «Фоме Гордееве».

Казалось бы, что такое произведение, как «Фома Гордеев», должно было расхолодить поклонников Горького и отшатнуть их от кумира. Вышло иначе: «Фома Гордеев» разошелся в 60 000 экземпляров к сентябрю 1903 года.

В чем же мог заключаться успех этой длинной и скучной книги? Очевидно, не в некоторых удачно обрисованных лицах (Игнат Гордеев, старый Маякин, Медынская). Поклонники не заметили даже такого недочета в романе, как противоречие в речах Фомы против капитала с тратами капитала им же на свои необузданные кутежи. Никому не пришло из поклонников в голову, что все же лучше вести на деньги торговые дела, нежели швырять их за окно. У Игната Гордеева были идеи послужить обществу, у Фомы никаких.

Принимая все это во внимание, необходимо признать, что успех «Фомы Гордеева» заключается лишь в сугубом повторении на разные лады излюбленных идей Максима Горького, на удочку которых, а никак не его дарования, пошли доверчивые и одуроченные проповедником читатели.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Максим Горький как драматург

I

Максим Горький дал два произведения, исполняемые на театре: «Мещане» и «На дне».

Всякий почти писатель рано или поздно берется за произведения драматические. Для автора они особенно заманчивы, ибо дают ему возможность непосредственно судить о впечатлении произведения на публику.

Но одновременно с тем произведения драматические — самые трудные в области художественного творчества. Автор для изложения своего предмета лишен описательных средств. У него один материал — беседа действующих лиц. Он не может, как романист, приостановить действие и описать нам местность, характеры своих героев, дать их биографию. Если кто-нибудь из действующих лиц начинает пояснять зрителю то,

чего он перед собою не видит, — действие останавливается, и пьеса в этих местах делается неинтересной. Самые размеры драматического произведения, исполнение которого вместе с антрактами не должно занимать в среднем более четырех часов, ставят автору тесные и узкие рамки. Ввиду этого как замысел драматической вещи, так и его выполнение совершенно не сходствует с замыслом и выполнением произведения повествовательного.

Справедливость такого взгляда доказывается тем, что все опыты переделок романов и повестей в драмы всегда были неудачны, а иногда по своему содержанию и не вполне удобопонятны для зрителей, незнакомых с первоисточниками. Даже такой величайший мастер драматического построения, как Александр Дюма-сын, рядом с проложительно превосходными драматическими произведениями, могущими, независимо от их тенденции и содержания, служить образцами правильной драматической архитектоники, дал такую слабую вещь в своей наиболее популярной драме — «Дама с камелиями». Недостатки этой трогательной драмы произошли единственно от того, что автор заимствовал ее из своего же романа и что драматург при изложении для сцены трагедии Маргариты Готье был связан романистом, давшим в повествовании подробности и оттенки, не укладывающиеся в рамки драмы.

Чтобы писать для театра, надо знать театр и его требования. Совершенно недостаточно составить ряд разговоров действующих лиц и пришить их друг к другу, — это не даст драмы. А потому необходимо быть гениальным писателем или много работать на поприще изучения театра.

В первом случае можно, как Гоголь, в молодых годах, сразу, никогда не писавши для театра, дать «Ревизора», и как Лев Толстой, в годах уже преклонных и тоже не писавши для сцены, дать «Власть тьмы», — эти два необыкновенные образца драматического построения.

Во втором случае путем пристальной работы и изучения можно добиться той шаблонной, но изящной, уверенной и красивой сценической техники, в которой достиг полного совершенства и не знает соперников Виктор Крылов.

Бывает и так, что писатель с первых шагов посвящает себя театру, родится драматургом и либо вовсе не пишет в других родах искусства, либо пишет вещи ничтожные по сравнению со своими драматическими произведениями. Таковы у греков Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, у римлян Теренций и Плавт,

у англичан Шекспир, у испанцев Лопе де Вега и Кальдерон, у французов Корнель, Мольер, Расин, у нас Островский.

Максим Горький подошел к театру с неумытыми руками, без малейшей подготовки и, очевидно, без малейшей способности к писанию произведений драматических. Чувствуя, что тот набор разговоров, который он выбрасывает на подмостки, не может быть причислен ни к трагедии, ни к драме, ни к комедии, он назвал «Мещан» драматическим эскизом, а «На дне» — картинами.

Для зрителя от этого не легче. Как ни назови автор свое произведение, но перед зрителем будет совершаться та же смена действий, к которым он привык в театре. Но в представлениях Максима Горького, по внешности напоминающих все представления такого рода, зритель не встретит в начале изложения предмета (экспозиции), завязки в середине представления и развязки в конце, — не встретит тех, быть может, «устаревших», но необходимых элементов, из которых складывается драма.

Нигде Максим Горький не стоит столь низко в художественном отношении, как в своих драматических произведениях. Его небольшие рассказы отмечены печатью таланта, его романы — плохи, его драмы — нелепы.

II

А между тем они имели успех, причем успех пьесы «На дне», в исполнении московской труппы гг. Станиславского и Немировича-Данченко, был чрезвычайным. Надо признать, что руководители московского Художественного театра приложили все старания, чтобы придать изображению ночлежки и ее обитателей полный реализм. Не требующие никакой работы, кроме фотографического изображения босяков, роли в пьесе «На дне» были исполнены в совершенстве. От этого пьеса не обратилась в драму и ее отдельные сцены не сложились в одно целое, но зрители валом валили на представления и неистово аплодировали.

Весьма поучительно разобраться в причинах такого, на первый взгляд непонятого и ничем, казалось бы, не обусловленного явления. Успех пьесы «На дне», сдается нам, — родственник успеху разных феерий. Как в феерии, чем мудренее комбинация разных обстановочных эффектов, тем она более привлекает зевак, так и в пьесе «На дне» необычность обстановки, новизна ее грязи, неслыханные еще со сцены ругатель-

ства, невиданные еще на сцене безобразия своей внешностью привлекают тех, кто ходит в театр не думать, а поглазеть, и кто выходит из театра, даже не умея передать словами того, что перед ним представляли. Такой публики очень много и в числе ее есть и люди, причисляющие себя и причисляемые другими к «интеллигентам».

Кроме внешней новизны предложенного Горьким спектакля он представлял и внутреннюю, так сказать, новизну. С подмостков сцены, а уже не со страниц книг шла пропаганда революционного босячества. История Франции XVIII века указывает, что проповедь революционных идей встречает почти всегда главное и первое сочувствие именно у тех, против кого она непосредственно направлена. Там французская аристократия всячески поддерживала идеи вольности, пока, в своем извращении, они не обратились в топор гильотины и не пали на шею тех, кто столь усердно им поклонялся.

У нас антиобщественная и антигосударственная проповедь, столь бесстыдно извергаемая устами героев «дна», нашла себе ценителей и поклонников даже в великосветских дамах. Некоторые из них возвращались из театра после представления «На дне» в каком-то упоении. Они не хотели заметить, что их оплевали, как и все общество, со сцены, что им грозили забастовкой работ, дразнили ею, что ничегонеделание, обременение земли своей босяцкой личностью возводили в идеал. Зрительницы твердили, что «это» ново и трогательно. Если бы их вместо театра гг. Станиславского и Немировича-Данченко отвезти в настоящую ночлежку и показать им истинную нужду и истинное босячество, то с ними сделалось бы дурно и они нюхали бы английскую соль, чтобы заглушить прелый запах грязных отрепьев и грязных тел. Ну, а со сцены — другое дело.

Нескольких таких кликуш, рабынь случайной моды достаточно, чтобы создать успех дикой и ни с чем не сообразной пьесе.

Но не такими зрительницами исчерпывается весь состав публики. Там, в театре, была еще обманутая молодежь. Она вслушивалась в разрушительные возгласы «интеллигентного» босяка Сатина и неистово рукоплескала. Ругательства Сатина, его фразы, вроде «человек — это звучит гордо!..», «ложь — религия рабов и хозяев...», «правда — Бог свободного человека!» — принимались чуть ли не за откровение. Обманутые не видали, что именно «человека»-то тут и нет, что не могут Сатины носить звание, которого они, по собственной вине, лишились. Слова были приняты на веру, а отсюда уже следующий

шаг прямо ведет к признанию именно в Сатиных — сущности жизни, к признанию за ними права образовать отдельный класс общества. И вот соблазненные юноши обоего пола, как и одураченные кликуши, помогают Горькому в его пропаганде, помогают ему все более и более внедрять в сознание общественное проповедь босячества и необходимости формирования особых кадров босяков для потрясения основ общественных.

III

Из двух драматических произведений Максима Горького мы остановимся на пьесе «На дне». Она наиболее популярная из двух и в ней типические стороны автора особенно резко выделяются.

О содержании пьесы «На дне» нечего говорить. Оно более или менее всем известно, да и рассказать его трудно, так как его не существует. Если бы была дана задача рассказать это содержание, то взявшийся за исполнение ее был бы поставлен в необходимость или ограничиться передачей романа жены содержателя ночлежки Василисы Костылевой, ее сестры Натальи и вора Васьки Пепла, или передавать весь ход пьесы, сцена за сценою. В первом случае смысл и значение «картин» Горького были бы совершенно утрачены, так как упомянутый роман не составляет центра пьесы, а лишь один из наиболее видных ее эпизодов. Во втором случае эпизодические лица и сцены поглотят роман Пепла.

Максим Горький потщился дать уголок жизни «дна», создать фон, на котором глашатай пьесы Сатин мог бы проповедовать свою мораль, а потому не гнался за целостностью построения, ему, впрочем, и недоступной.

Максим Горький хотел действовать на воображение зрителя внешней стороной своего произведения, чтобы среди необычной для посетителя театров обстановки заставить его легче воспринять те поучения, которые предлагались со сцены устами жителей ночлежки.

Зная, что пьеса его пойдет в театре г. Станиславского, где всякой мелочи придается особое значение, Горький дал подробнейшее описание места действия и расположения на сцене действующих лиц при поднятии занавеса.

Подвал, похожий на пещеру. Потолок — тяжелый, каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой. Свет от зрителя и сверху вниз, — из квадратного окна с правой стороны. Правый угол занят отгоро-

женной тонкими переборками комнатой П е п л а, около двери в эту комнату нары Б у б н о в а. В левом углу — большая русская печь; в левой, каменной стене — дверь в кухню, где живут К в а ш н я, Б а р о н, Н а с т я. Между печью и дверью, у стены — широкая кровать, закрытая грязным ситцевым пологом. Везде по стенам — нары. На переднем плане, у левой стены — обрубок дерева с тисками и маленькой наковальней, прикрепленными к нему, и другой, пониже первого. На последнем, перед наковальней, сидит К л е щ, примеряя ключи к старым замкам. У ног его — две большие связки разных ключей, надетых на кольца из проволоки, исковерканный самовар из жести, молоток, подпилки. Посредине ночлежки — большой стол, две скамьи, табурет, все — некрашенное и грязное. За столом, у самовара К в а ш н я хозяйничает. Барон жует черный хлеб, и Н а с т я, на табурете, читает, облокотясь на стол, растрепанную книжку. На постели, закрытая пологом, кашляет А н н а. Б у б н о в, сидя на нарах, примеряет на болванке для шапок, зажатой в коленях, старые, распоротые брюки, соображая, как нужно кроить. Около него — изодранная картонка из-под шляпы — для козырьков, куски клеенки, тряпье. Сатин только что проснулся, лежит на нарах и — рычит. На печке, невидимый, возится и кашляет А к т е р. Начало весны. Утро.

Для ясности того, что придется нам говорить далее, приводим вступительную сцену «На дне».

Б а р о н. Дальше!

К в а ш н я. Не-ет, говорю, милый, с этим ты от меня поди прочь. Я, говорю, это испытала... и теперь уж ни за сто печеных раков под венец не пойду!

Б у б н о в (*Сатину*). Ты чего хрюкаешь? (*Сатин рычит*).

К в а ш н я. Чтобы я, говорю, свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому-нибудь в паспорт вписалась, чтобы я мужчине в крепость себя отдала — нет! Да будь он хоть принц американский, — не подумаю замуж за него идти.

К л е щ. Врешь.

К в а ш н я. Чего-о?

К л е щ. Врешь. Обвенчаешься с Абрамкой...

Б а р о н (*выхватив у Насти книжку, читает название*). «Роковая любовь»... (*Хохочет*).

Н а с т я (*протягивая руку*). Дай... отдай! Ну... не балуй!

Б а р о н (*смотрит на нее, помахивая книжкой в воздухе*).

К в а ш н я (*Клецу*). Козел ты рыжий! Туда же — врешь! Да как ты смеешь говорить мне такое дерзкое слово?

Б а р о н (*ударяя книгой по голове Настю*). Дура ты, Настька...

Н а с т я (*отнимает книгу*). Дай...

К л е щ. Велика барыня... А с Абрамкой ты обвенчаешься... только того и ждешь...

К в а ш н я. Конечно! Еще бы!.. как же! Ты вон, заездил жену-то до полусмерти...

К л е щ. Молчать, старая собака! Не твое это дело...

К в а ш н я. А-а! Не терпишь правды!

Б а р о н. Началось! Настька, ты где?

Н а с т я (*не поднимая головы*). А... Уйди!

А н н а (*высовывая голову из-за полога*). Начался день! Бога ради... не кричите... не ругайтесь вы!

К л е щ. Заныла!

А н н а. Каждый Божий день... дайте хоть умереть спокойно!

Б у б н о в. Шум смерти не помеха...

К в а ш н я (*подходя к Анне*). И как ты, мать моя, с таким злым днем жила?

А н н а. Оставь., отстань...

К в а ш н я. Н-ну! Эх ты... терпеливица!.. Что, не легче в груди-то?

Б а р о н. Квашня! На базар пора...

К в а ш н я. Идем сейчас! (*Анне*). Хочешь, пельмешков горяченьких дам?

А н н а. Не надо... спасибо. Зачем мне есть?

К в а ш н я. А ты поешь. Горячее — смягчит. Я тебе в чашку отложу и оставляю... Захочешь когда и покушай! Идем, барин... (*Клещу*). У, нечистый дух... (*Уходит в кухню*).

А н н а (*кашляя*). Господи...

Б а р о н (*тихонько толкает Настю в затылок*). Брось... дуреха!

Н а с т я (*бормочет*). Убирайся... я тебе не мешаю. (*Барон, насвистывая, уходит за Квашней*).

С а т и н (*приподнимаясь на нарах*). Кто это бил меня вчера?

Б у б н о в. А тебе не все равно?..

С а т и н. Положим, так... А за что били?

Б у б н о в. В карты играл?

С а т и н. Играл...

Б у б н о в. За это и били...

С а т и н. М-мерзавцы...

А к т е р (*высовывая голову с печи*). Однажды тебя совсем убьют до смерти...

С а т и н. А ты — болван.

А к т е р. Почему?

С а т и н. Потому что дважды убить — нельзя.

А к т е р (*помолчав*). Не понимаю... почему — нельзя?

К л е щ. А ты слезай с печи-то, да убирай квартиру... чего нежишься?

А к т е р. Это дело не твое...

К л е щ. А вот Василиса придет — она тебе покажет, чье дело...

А к т е р. К черту Василису. Сегодня Баронова очередь убираться... Барон!

Б а р о н (*выходя из кухни*). Мне некогда убираться... я на базар иду с Квашней.

А к т е р. Это меня не касается... иди хоть на каторгу... а пол мести твоя очередь... я за других не стану работать...

Б а р о н. Ну, черт с тобой! Настенька подметет... Эй, ты, роковая любовь! Очнись! (*Отнимает книгу у Настю*).

Н а с т я (*вставая*). Что тебе нужно? Дай сюда! Озорник! А еще — барин...

Б а р о н (*отдавая книгу*). Настя! подмети пол за меня — ладно?

Н а с т я (*уходя в кухню*). Очень нужно... как же!

К в а ш н я (*в двери из кухни — Барону*). А ты — иди! Уберутся без тебя... Актер, тебе просят, — ты и сделай... не переломишься чай!..

А к т е р. Ну... всегда я... не понимаю...

Б а р о н (*выносит из кухни на коромысле корзины. В них корчаги, покрытые тряпками*). Сегодня что-то тяжело...

С а т и н. Стоило тебе родиться бароном...

К в а ш н я (*Актеру*). Ты смотри же, подмети! (*Выходит в сени, пропустив вперед себя Барона*).

А к т е р (*слезая с печи*). Мне вредно дышать пылью. (*С гордостью*). Мой организм отравлен алкоголем... (*Задумывается, сидя на нарах*).

С а т и н. Организм... органон...

А н н а. Андрей Митрич...

К л е щ. Что еще?

А н н а. Там пельмени мне оставила Квашня... возьми, поешь.

К л е щ (*подходя к ней*). А ты — не будешь?

А н н а. Не хочу... На что мне есть? Ты — работник... тебе надо...

К л е щ. Боишься? Не бойся... может, еще...

А н н а. Иди, кушай! Тяжело мне... видно, скоро уж...

К л е щ (*отходя*). Ничего... может — встанешь... бывает! (*Уходит в кухню*).

А к т е р (*громко, как бы вдруг проснувшись*). Вчера в лечебнице, доктор сказал мне: ваш, говорит, организм совершенно отравлен алкоголем...

С а т и н (*улыбаясь*). Органон...

А к т е р (*настойчиво*). Не органон, а ор-га-ни-зм...

С а т и н. Сикамбр...

А к т е р (*машет на него рукой*). Э, вздор! Я говорю — серьезно... да. Если организм — отравлен... значит, — мне вредно мести пол... дышать пылью...

С а т и н. Макробиотика... ха!

Б у б н о в. Ты чего бормочешь?

С а т и н. Слова... А то еще есть — транс-седентальный...

Б у б н о в. Это что?

С а т и н. Не знаю... забыл...

Б у б н о в. Ак чему говоришь?

С а т и н. Так... Надоели мне, брат, все человеческие слова... все наши слова — надоели! Каждое из них слышал я... наверное, тысячу раз...

А к т е р. В драме «Гамлет» говорится: «Слова, слова, слова!» Хорошая вещь... Я играл в ней могильщика...

К л е щ (*выходя из кухни*). Ты с метлой играть скоро будешь?

А к т е р. Не твое дело... (*Ударяет себя в грудь рукой*). Офелия! О, помни меня в твоих молитвах!...

Мы знакомимся сразу со многими действующими лицами. Не вышли только на сцену: Костылев, содержатель ночлежки,

ростовщик, кровопийца, пристанодержатель, покупатель заведомо краденого; его жена, Василиса, суровая, злая, беспощадная баба, любовница вора Пепла; ее сестра Наташа, предмет вожелений Пепла и злобы Василисы; дядя Василисы и Натальи, возможный жених Квашни, полицейский; странник Лука, неудачное подражание Акиму во «Власти тьмы» Льва Толстого, или пародия на Акима; Алешка, пьяный юноша-сапожник, и крючники Кривой-Зоб и Татарин.

Положения действующих лиц сразу выясняются как приведенной сценой, так и последующими сценами первого действия. Барон состоит сутенером у сентиментальной проститутки-пьяницы Насти. Актер и Сатин случайно держатся вместе. Пепел ведет себя гордо, имеет даже отдельную комнату и живет с хозяйкой. Костылев все чувствует, но пока терпит и покупает краденое у любовника жены. Василиса не желает делиться Пеплом и бьет сестру Наташу не на живот, а на смерть, при всяком подходящем случае. Клещ, считающий себя, как работник, выше тунеядцев и босяков, вкатал в гроб свою кроткую жену Анну, которая в конце концов и умирает. Драма Василисы и Пепла кончается тем, что Пепел в драке убивает Костылева, а Василиса перед тем ошпаривает ноги сестре горячей водой. Актер в конце пьесы удавливается. У крючника Татарина рука поражена гангреной и ему придется ее отрезать.

Вот, так сказать, вся фактическая сторона пьесы. Интересного тут мало. Тут нет ни развития чувств, ни развития характеров. Все эти обитатели ночлежки, вместе и порознь, не раз появлялись и до, и после драмы Горького в произведениях разного рода, начиная с лубочных романов «Петербургского листка» и «Петербургской газеты». Сопоставленные все одну кучу, ругающиеся, пьющие, нарушающие общественную тишину и спокойствие, они образуют в пьесе Горького какой-то клубок завивающихся и развивающихся смрадных червей. Пьеса производит впечатление нестройного, но угнетающего кошмара, где правдоподобие уступает место ужасу и отвращению.

IV

Рассматриваемая помимо скрытых намерений автора, пьеса «На дне» ставит размышляющего читателя в недоумение и рождает вопрос — к чему это живописание? Изображение ради изображения только тогда может быть предметом искусства, когда дело идет о красоте в каком бы то ни было роде: будь то

красота пластическая, красота чувства, будь то красота ужаса стихийной катастрофы или обогрелого кровью поля сражения. Но изображать, как люди ходят в грязи, как они допились до падения на «дно» и как они на этом дне пьянствуют, дерутся, сквернословят, злятся, — к чему? Все эти явления известны каждому, подробности их так мало типичны, что их не стоит воспроизводить. Едва ли и Горький, руководясь лишь желанием воспроизвести действительность, стал бы обрисовывать «дно» так детально. Как бы ни слабо было его художническое чутье, не может он не понимать, что внешность его «дна» только омерзительна.

Но у него была другая цель. Проповедь босячества со страниц книги показалась ему малой. Он нашел более полезным и пригодным вести ее со сцены, при соответствующей декорации, устами талантливого актера.

К цели своей автор пошел прямо. От самого заглавия своей пьесы он искусственно поставил вопрос на привычную ему почву. Уже не один босяк, а многие, как указано нами в предыдущих главах, вели противообщественную проповедь в сочинениях Горького до Сатина. Сатин громче других ее продолжает. Горький говорит о «дне», т. е. о «дне» общества. Хорошо же общество, если у него такое дно. Слово «дно» не есть синоним тины, грязи. Бывает дно илистое, вязкое, зловонное, но бывает и чистое, покрытое песком, твердое, делающее воду над ним, текущую или стоящую, прозрачной и здоровой. Всякие осадки, действительно, садятся на дно, но оно же служит и основой прочего, а потому не может состоять только из осадков. Если же все дно состоит из одной грязи и тины, тогда и то, чему оно дном служит, в сущности, грязно, мерзко, заражено.

Это-то и хотел сказать Горький. Он давно уже произнес приговор обществу, давно уже нашел поправку к его ошибкам и недостаткам в образовании особого общественного класса босяков, и их устами ведет свою проповедь. Сатин только сильнее высказывает то, что говорили его предшественники. Некоторый мифистофелизм, вложенный в него автором, служит не столько для оттенения его характера, как для затушевывания слишком явных поучений его проповеди.

Всем сказанным мы не хотели вовсе устанавливать той мысли, что среда и сюжет, избранные Горьким для драмы, ни при каких условиях для этой цели не годятся. Лично тому или иному зрителю такая тема и такая обстановка может быть антипатична, но это еще не служит приговором темы.

Наоборот, мы утверждаем, что связь Петра с Василисой, стремление Петра к Наташе, ее готовность полюбить его, роль во всем этом Костылева, его насильственная смерть, изувеченное мщение ревнивой Василисы, — все это достаточные элементы для драмы, и для драмы очень сильной. Но тогда именно этой коллизией чувств и следовало заняться, ее и нужно было выдвинуть на первый план. Все остальные лица для развития этой центральной драмы маловажны. Зритель ни на минуту не должен забывать о главных лицах. А в пьесе Горького они постоянно оттесняются на задний план. И когда их трагедия уже разыгралась, автор дает еще одно (4-е) действие, ничего не прибавляющее к основному положению. Драма Пепла интересует зрителя не более, чем умирание Анны, беседа Актера и Сатина, появление пьяного Алешки с гармоникой.

Низведенная на степень картинки, эпизода, дополнительного рассказа, драма Пепла, даже вовсе выкинутая из пьесы «На дне», не лишила бы любителей таких грязных удовольствий всей меры потребного им наслаждения.

Поясним сравнением это утверждение наше. В пьесе-феерии «В 80 дней вокруг света», взятой из романа Жюль Верна, любовное приключение героя, Филеаса Фога, со спасенной им от костра индусской-вдовой совершенно исчезает перед зрителями в массе интересных подробностей: крушений кораблей, нападений индейцев на поезд, грота змей и т. п. Там зрелище поглощает романтическую завязку.

Как ни странно, но в писанной для развращения взрослых пьесе Горького получается то же впечатление, что и в составленной на скорую руку феерии для развлечения детей: обстановка и подробности поглощают сущность.

Сущность эта, однако, не в ядре драмы, как уже мы говорили, а в ее проповеднической стороне, к которой ныне и перейдем.

V

Проповедников в пьесе «На дне» двое: старик-странник Лука и «интеллигентный» босяк, лишенный прав состояния, пьяница и шулер, Сатин. Лука — начало примиряющее, Сатин — начало протестующее. В конце концов учение Луки помогает Сатину высказать окончательные положения своего нравственного, или, вернее, безнравственного кодекса.

Лука нарисован с заимствованием характерных черт у Акима из «Власти тьмы». Но разница между ними большая. Она проистекает главным образом от разницы в степени таланта М. Горького и Л. Н. Толстого. Толстой, при всех усилиях последних лет затемнить свое гениальное художническое дарование бредом своего лжеучения, никак этого достигнуть не может. Его талант пробивается сквозь толщу наносного мнимо-философского хлама и дает во всех, даже самых тенденциозных его произведениях, художественные образы и картины необыкновенной силы и красоты. Аким — представитель непротивления злу и толстовского вероучения в его, так сказать, натуральном виде, вдруг возвышается в последней сцене драмы до истинно христианского понимания покаяния.

Ничего подобного из картонного Луки М. Горького выйти не может. Он начал его рисовать теми красками, которые остались на палитре Толстого от изображения Акима, а когда увидел, что бледная фигура выходит довольно точной, но жалкой копией первообраза, то прибавил к образу Луки некоторую хитрость. Эта затаенная хитрость обращает нравственные поучения Луки в практические советы и отнимает от них все их духовное значение. Лука в конце концов поступает так, как ему лучше и выгоднее. В известный момент он скрывается с горизонта. Есть еще разница между Акимом и Лукою. Акиму нечего бояться полиции. Разве недоимки за ним числятся — и только. А Лука, видимо, беспаспортный, бродяга в полном значении этого слова. Без этого аксессуара действующим лицам Горького как-то не по себе. Они непременно должны быть на нелегальном положении, и тогда лишь их творец чувствует себя среди них как дома.

Сатин — порождение самого Горького. Это — опять человек, приобретший проповеднические права пьянством, преступлением, полным падением. Сатин наслушался Луки, соединил его положения со своими и пришел к выводу совершенного отрицания всего, кроме «человека», имеющего какие-то особые права потому только, что он — человек.

Главная основа учения Луки потому сходится с учением Сатина, что для них обоих центром является не то или другое нравственное правило, не вера во что-либо, а их эгоистическое представление о человеке как собственном центре и центре всего окружающего. Понятия о вере и правде считаются Лукой условными. Он видит в них только практическое применение к каждому отдельному случаю. Луке не «возвышающий обман»

дороже «тмы низких истин», ему ложь дороже правды, если правда может обеспокоить человека.

Вор Васька Пепел, который имеет родственные черты и с Фомой Гордеевым, и с другими подобными героями Горького, беседует с Лукою. Пепел по природе жизнерадостен, но в нем нет-нет да и проснется червь сомнения, его грызущий. Лука советует ему уйти из ночлежки, где осложнившиеся отношения Пепла к супругам Костылевым и Наташе не сулят ничего доброго.

Лука. А в самом деле, отойти бы тебе, парень, прочь с этого места...

Пепел. Куда! Ну-ка говори...

Лука. Иди... в Сибирь!

Пепел. Эге! Нет, уж я погожу, когда пошлют меня в Сибирь эту на казенный счет.

Лука. А ты слушай, иди-ка! Там ты себе можешь путь найти... Там таких — надобно!

Пепел. Мой путь — обозначен мне! Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и мне то же заказали... Я, когда маленький был, так уж в ту пору меня звали вор, воров сын...

Лука. А хорошая сторона — Сибирь! Золотая сторона! Кто в силе, да в разуме, тому там — как огурцу в парнике.

Пепел. Старик! Зачем ты все врешь?

Лука. Ась?

Пепел. Оглох! Зачем врешь, говорю?

Лука. Это в чем же вру-то я?

Пепел. Во всем... Там у тебя хорошо, здесь хорошо... ведь — врешь! На што?

Лука. А ты мне — поверь, да поди сам погляди... Спасибо скажешь... Чего ты тут трешься? И... чего тебе правда больше нужна... подумай-ка! Она, правда-то, может обух для тебя...

Пепел. А мне все едино! Обух, так обух...

Лука. Да, чудак! На что самому себя убивать?

Бубнов. И чего вы оба мелете? Не пойму... Какой тебе, Васька, правды надо? И зачем? Знаешь ты правду про себя... да и все ее знают...

Пепел. Погоди, не каркай! Пусть он мне скажет... слушай, старик: Бог есть? *(Лука молчит, улыбаясь)*.

Бубнов. Люди все живут... как щепки по реке плывут... трют дом... а щепки — прочь...

Пепел. Ну? Есть? Говори...

Лука *(негромко)*. Коли веришь, есть. Не веришь, нет... Во что веришь, то и есть... *(Пепел молча, удивленно и упорно смотрит на старика)*.

«Коли веришь в Бога — Он есть. Коли не веришь — Его нет». Определеннее высказаться нельзя. Для Луки, хотя он в другом месте и поминает Христа, никакого Бога нет. Он Его не

ищет и в Нем не нуждается. Бог — это у Луки мечта, иным людям нужная, для других бесполезная. Учение легкое и удобное. Пепел, видя, что старик как будто добрый и толковый, в мгновение пробуждающейся совести обращается к нему в поисках правды, а Лука отвечает: и не ищи правды, — «она, может, обух для тебя». Эта упрощенная мораль, действительно, удобна. Никаких нравственных требований ни к кому не предъявляется. Живи, пока живется, угрызения совести отбрось, как помеху.

Лука тверд в своем представлении о том, что ничего на свете нет, кроме того, что человек себе вообразит.

Лука участвует в очень характерной начальной сцене третьего действия.

Н а с т я (*закрыв глаза и качая головой в такт словам, певуче рассказывает*). Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились... а уж я его давно жду и дрожу от страха и горя. Он тоже дрожит весь и — белый, как мел, а в руках у него леворверт...

Н а т а ш а (*грызет семечки*). Ишь! Видно, правду говорят, что студенты — отчаянные...

Н а с т я. И говорит он мне страшным голосом: — Драгоценная моя любовь...

Б у б н о в. Хо-хо! Драгоценная?

Б а р о н. Погоди! Не любо — не слушай, а врать не мешай... Дальше!

Н а с т я. Ненаглядная, говорит, моя любовь! Родители, говорит, согласия не дают, чтобы я венчался с тобой... и грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе. Ну, и должен, говорит, я от этого лишиться себя жизни... А леворверт у него — огромный и заряжен десятью пулями... Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца! — решился я бесповоротно... жить без тебя — никак не могу. И отвечала я ему: незабвенный друг мой... Рауль...

Б у б н о в (*удивленный*). Чего-о? Как? Караул?

Б а р о н (*хохочет*). Настька! Да ведь... ведь прошлый раз — Гастон был?

Н а с т я (*вскакивая*). Молчите... несчастные! Ах... бродячие собаки! Разве... разве вы можете понимать... любовь? Настоящую любовь? А у меня — была она... настоящая! (*Барону*). Ты! Ничтожный!.. Образованный ты человек... говоришь — лежа кофей пил...

Л у к а. А вы — погоди-ите! Вы — не мешайте! Уважьте человеку... не в слове — дело, а — почему слово говорится? — вот в чем дело. Рассказывай, девушка, ничего!

Б у б н о в. Раскрашивай, ворона, перья... валяй!

Б а р о н. Ну, дальше!

Н а т а ш а. Не слушай их... что они? Они — из зависти это... про себя им сказать нечего...

Н а с т я (*снова садится*). Не хочу больше! Не буду говорить... Коли они не верят... коли смеются... (*Вдруг, прерывая речь, молчит несколько*

секунд и, вновь закрыв глаза, продолжает горячо и громко, помахивая рукой в такт речи и точно вслушиваясь в отдаленную музыку). — И вот — отвечаю я ему: радость жизни моей! Месяц ты мой ясный! И мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете... потому как люблю я тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется во груди моей! Но, — говорю, — не лишай себя молодой твоей жизни... как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты — вся их радость... брось меня. Пусть лучше я пропаду... от тоски по тебе, жизнь моя... я — одна... я — таковская! Пускай уж я... погибаю, — все равно! Я — никуда не погжусь... и нет мне ничего... нет ничего... (Закрывает лицо руками и беззвучно плачет).

Н а т а ш а (отвертывается в сторону, негромко). Не плачь... не надо! (Лука, улыбаясь, гладит голову Настю).

Б у б н о в (хохочет). Ах... чертова кукла! а?

Б а р о н (тоже смеется). Дедка! Ты думаешь, это правда? Это все из книжки «Роковая любовь»... Все это — ерунда! Брось ее!

Н а т а ш а. А тебе что? Ты молчи уж... коли Бог убил.

Н а с т я (яростно). Пропадающая душа! Пустой человек! Где у тебя — душа?

Л у к а (берет Настю за руку). Уйдем, милая! ничего... не сердись! Я — знаю... Я — верю! Твоя правда, а не ихняя... Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь... значит, была она! Была! А на него — не сердись, на сожителя-то... Он... может, и впрямь из зависти смеется... у него, может, вовсе не было настоящего-то... ничего не было! Пой-дем-ка!..

Н а с т я (крепко прижимая руки к груди). Дедушка! Ей-Богу... было это! Все было!.. Студент он... француз был... Гастошей звали... с черной бородкой... в лаковых сапогах ходил... разрази меня гром на этом месте! И так он меня любил... так любил!

Л у к а. Я — знаю! Ничего! Я верю! В лаковых сапогах, говоришь? А-ай-ай! Ну — и ты его тоже — любила? (Уходят за угол).

Проститутка низшего разбора, Настя, любовница босяцкого барона, услаждает свою горькую жизнь чтением бульварных романов. Она желает верить, что прочтенное ею в романах было в действительности, и ни с кем другим, как именно с нею. Этот мотив уже был ранее разработан М. Горьким в рассказе «Бо-лесь», где некрасивая и немолодая проститутка просила каждого, с кем познакомится, составлять ей письма к воображаемому возлюбленному Болесю. Горькому кажется, что это выходит необыкновенно трогательно. Он и в «На дне» повторяет тот же сентиментально лубочный прием.

«Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь... значит, была она!» Опять то же, что и о Боге. Хочешь Его сочинить, хочешь вообразить себе любовь — Бог и любовь существуют. Не хочешь — их нет!

Все дело в человеке. А что такое этот «человек», нам объяснит потом Сатин.

Лука сдабривает свою проповедь понятием о жалости, о необходимости приласкать человека.

Лука. Поди-ка, вот... приласкай! Человека приласкать — никогда не вредно...

Наташа. Добрый ты, дедушка... Отчего ты — такой добрый?

Лука. Добрый, говоришь? Ну... и ладно, коли так... да! Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть... жалеть людей надо! Христос-то всех жалел и нам так велел. Я те скажу — вовремя человека пожалеть... хорошо бывает! Вот, примерно, служил я сторожем на даче... у инженера одного под Томском-городом... Ну, ладно! В лесу дача стояла, место глухое... а зима была и — один я, на даче-то... Славно — хорошо! Только раз — слышу — лезут!

Наташа. Воры?

Лука. Они лезут, значит, да!.. Взял я ружьишко, вышел... Гляжу — двое... открывают окно — и так занялись делом, что меня и не видят. Я им кричу: ах, вы!... пошли прочь!.. А они, значит, на меня с топором... Я их упреждаю — отстаньте, мол! А то сейчас — стреляю!.. Да ружьишко, то на одного, то на другого навожу. Они — на коленки пали: дескать — пусти! Ну, а я уж того... осердился за топор-то, знаешь! Говорю — я вас, лешие, прогонял, не шли... а теперь говорю: ломай ветки один который-нибудь! Наломали они. Теперь, приказываю, один — ложись, а другой — пори его! Так они, по моему приказу, и выпороли дружка дружку, А как выпоролись они... и говорят мне — дедушка, говорят, дай хлебца, Христа ради! Идем, говорят, не жрамши. Вот-те и воры, милая... *(смеется)*... вот-те и с топором! Да... Хорошие мужики оба... Я говорю им: вы бы, лешие, прямо бы хлеба просили. А они — надоело, говорят... просишь, просишь, а никто не дает... обидно! Так они у меня всю зиму и жили. Один, — Степаном звать, — возьмет, бывало, ружьишко и закатится в лес... А другой, — Яков был, — все хворал, кашлял все... Втроем, значит, мы дачу-то и стеггли. Пришла весна — прощай, говорят, дедушка! И ушли... в Россию побрели...

Наташа. Они беглые? Каторжане?

Лука. Действительно, так, беглые, с поселенья ушли... Хорошие мужики!.. Не пожалей я их — они бы, может убили меня... али еще что... А потом — суд да тюрьма, да Сибирь... что толку? Тюрьма — добру не научит... да! Человек — может добру научит... очень просто! *(Пауза.)*

Бубнов. Мм-да!.. А я вот... не умею врать! Зачем? По-моему — вали всю правду, как она есть! Чего стесняться?

Клещ *(вдруг снова вскакивает, как обожженный, и кричит)*. Какая правда? Где — правда? *(Треплет руками лохмотья на себе)*. Вот — правда! Работы нет... силы нет! Вот — правда! Пристанница... пристан-ща негу! Издыхать надо... вот ока правда! Дьявол! На... на что мне она — правда? Дай вздохнуть... вздохнуть дай! Чем я виноват?.. За что мне — правду? Жить — дьявол — жить нельзя... вот она, правда!..

Бубнов. Вот так... забрало!..

Лука. Господи Иусе... слышь-ка, милый! Ты...

К л е щ (*дрожит от возбуждения*). Говорите тут — правда! Ты, старик, утешаешь всех... Я тебе скажу... ненавижу я всех! И эту правду... будь она, окаянная, проклята! Понял? Пойми! Будь она — проклята! (*Бежит за угол, оглядываясь*).

Л у к а. Ай-яй-ай! Как встревожился человек... И куда побежал?

Н а т а ш а. Все равно как рехнулся...

Б у б н о в. Здорово пущено! Как в театре разыграл... Бывает это, частенько... Не привык еще к жизни-то...

П е п е л (*медленно выходит из-за угла*). Мир честной компании! Что, Лука, старец лукавый, все истории рассказываешь?

Л у к а. Видел бы ты... как тут человек кричал?

П е п е л. Это Клещ, что ли? Чего он? Бежит, как ошпаренный...

Л у к а. Побежишь, если этак... к сердцу подступит...

П е п е л (*садится*). Не люблю его... больно он зол, да горд. (*Передразнивая Клеща*). «Я — рабочий человек». И — все его ниже, будто... Работай, коли нравится... чем же гордиться тут? Ежели людей по работе ценить... тогда лошадь лучше всякого человека... возит и — молчит!

Л у к а (*задумчиво, к Бубнову*). Вот... ты говоришь — правда... Она, правда-то, не всегда по недугу человеку... не всегда правдой душу вылечишь... Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил...

Б у б н о в. Во что-о?

Л у к а. В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля... в той, дескать, земле, — особые люди населяют... хорошие люди! друг дружку они уважают, друг дружке — за всяко-просто — помогают и все у них славно-хорошо! И вот человек все собирался идти... праведную эту землю искать. Был он — бедный, жил — плохо... и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись, да помирай — духа он не терял, а все, бывало, усмехался только да высказывал: ничего! потерплю! Еще несколько подожду, а потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю... Одна у него радость была — земля эта...

П е п е л. Ну? Пошел?

Б у б н о в. Куда? Хо-хо!

Л у к а. И вот в это место — в Сибири дело-то было, — прислали ссыльного, ученого... с книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штука-ми... Человек и говорит ученому: покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога? Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил... глядел-глядел — нет нигде праведной земли! Все верно, все земли показаны, а праведной — нет!

П е п е л (*негромко*). Ну? Нету? (*Бубнов хохочет*).

Н а т а ш а. Погоди ты... ну, бабушка?

Л у к а. Человек — не верит... Должна, говорит, быть... ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет... Ученый — в биду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! а по планам выходит — нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: ах, ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый... да

в ухо ему — раз! Да еще!.. (Помолчав). А после того пришел домой и — удавился!..

(Все молчат. Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу).

По-видимому, старик будто и добрый, но на самом деле он преисполнен лукавства. Он большой утилитарист, под покровом слащавых поучений.

Пеплу, который в приведенной сцене жестоко осудил «рабочих людей», Лука покровительствует. Когда Пепел уговаривает Наташу уйти с ним и обещает бросить воровство, Лука подерживает его. Он говорит:

Лука. И я скажу — иди за него, девонька, иди! Он — парень ничего — хороший! Ты только почаще напоминай ему, что он хороший парень, чтобы он, значит, не забывал про это! Он тебе — поверит... Ты только поговаривай ему: Вася, мол, ты — хороший человек... не забывай! Ты подумай, милая, куда тебе идти окромя-то? Сестра у тебя — зверь злой, про мужа про ее — и сказать нечего: хуже всяких слов старик... и вся эта здешняя жизнь... куда тебе идти! А парень — крепкий...

Опять, как средство уладить жизнь, — воображаемая искусственная правда. Повторяй человеку, что он — хороший человек, и он поверит.

Надавав всяких таких советов, Лука исчезает столь же внезапно, как и появился. Он идет «в хохлы... Слышал я... открыли там новую веру... поглядеть надо... да! Все ищут люди, все хотят, как лучше... дай им, Господи, терпенья!»

Речь идет о сектантах, штундистах¹⁵ и тому подобных, которые «придумают, как лучше». Это сказано вскользь, будто мимоходом, но говорить это вовсе не требовала сама пьеса. Но отчего же не воспользоваться удобным случаем и не намекнуть, что улучшение жизни проистечет из тех элементов, которые заведомо антигосударственны и антиобщественны.

VI

Главная проповедь идей Горького возложена в его пьесе не на Луку, однако. Те слова, которые нужны Горькому, — их говорит Сатин. Высказывается он окончательно, начистоту, как это всегда бывает у Горького в заключительных сценах.

Клещ, муж Анны, заевший жену, — представитель рабочего класса, оспариваемый в своих воззрениях и Пеплом, и Сатиным. Как ни черно нарисован Клещ, но он знает, чего хочет, он видит исход только в труде и за это удостоен от Максима Горь-

кого всяческого презрения. Ему и прозвище дано подходящее — «Клещ». Все гнущие спину над честным трудом — клещи, никуда не нужные люди!

Интересна сцена между Лукой, Сатиным и Клещом.

Лука. Как же ты свихнулся со стези своей, а?

Сатин. Какой ты любопытный, старикашка! Все бы тебе знать... а — зачем?

Лука. Понять хочется дела-то человеческие... а на тебя гляжу — не понимаю! Эдакий ты бравый, Костянтин... не глупый... и вдруг...

Сатин. Тюрьма, дед! Я четыре года семь месяцев в тюрьме отсидел... а после тюрьмы — нет ходу!

Лука. Ого-го! За что сидел-то?

Сатин. За подлеца... убил подлеца в запальчивости и раздражении... В тюрьме я и в карты играть научился...

Лука. А убил — из-за бабы?

Сатин. Из-за родной сестры... Однако — ты отвяжись! Я не люблю, когда меня расспрашивают... И... все это было давно... сестра — умерла... уже девять лет... прошло... Славная, брат, была человечинка сестра у меня!..

Лука. Легко ты жизнь переносишь! А вот давеча тут... слесарь — так взвыл... а-а-яй!

Сатин. Клещ?

Лука. Он. Работы, кричит, нету... ничего нету!

Сатин. Привыкнет... Чем бы мне заняться?

Лука (*тихо*). Гляди! Идет... (*Клещ идет медленно, низко опустив голову*).

Сатин. Э, вдовец! Чего нюхалку повесил? Что хочешь выдумать?

Клещ. Думаю... чего делать буду? Инструмента — нет... все — похороны съели!

Сатин. Я тебе дам совет: ничего не делай! Просто обременяй землю!..

Клещ. Ладно... говори... Я — стыд имею пред людьми...

Сатин. Брось! Люди не стыдятся того, что тебе хуже собаки живет... Подумай — ты не станешь работать, я — не стану... еще сотни... тысячи, все! — понимаешь? — все бросают работать! Никто ничего не хочет делать — что тогда будет?

Клещ. С голоду подохнут все...

Лука (*Сатину*). Тебе бы с такими речами к бегунам идти... Есть такие люди, бегуны называются...

Сатин. Я знаю... они — не дураки, дедка!

Каковы слова, произносимые со сцены! «Все бросают работать, никто ничего не хочет делать — что тогда будет?»

Клещ отвечает резонно, что «с голоду подохнут все»... Клещ понимает лишь рабочих, не видя по узости своих понятий, что не одни рабочие, а точно «все» могут подохнуть при общей забастовке. Но Сатин, со своим советом — «ничего не делай! Про-

сто обременяй землю»... — знает, что он говорит. Ему нельзя досказать всей своей мысли, «по независящим от автора обстоятельствам», но она и так достаточно ясна и достаточно зажигательна для умов некоторой части общества. Понимает Сатина и Лука. «Тебе бы с такими речами к бегунам идти...», — говорит он. И Сатин отвечает, что бегуны — не дураки.

Драма драмой, а план кампании довольно определенный: рабочие должны забастовать, Луки — Петры Пустынники будущего босяцкого похода — пойдут к штундистам, Сатины — будущие Годфриды Бульонские¹⁶ того же похода — к бегунам... «Что тогда будет?» Да, если бы план привести в исполнение, очень понятно, что бы было. Была бы, повторяем, новая пугачевщина, горше первой. Был бы «русский бунт бессмысленный и беспощадный»¹⁷. Только к скрытой пропаганде этого бунта и могут быть направлены все зажигательные речи горьковских героев.

Мы уже не раз в настоящем исследовании на это указывали, мы должны будем в заключительной главе особенно на этом настоять, но и тут, при беседе о пьесе «На дне», мы считаем долгом указать на это. Оставим горьковского Луку босяком правды. Не будем бояться ее, не будем прятаться за ширмы только художественной оценки произведения, явно тенденциозного. Максим Горький, невзирая на его талант (вовсе уже не такой колоссальный, как кажется его поклонникам), не мог бы иметь такого успеха, если бы его огонь не заключался в проповеди разрушения современного общества.

«А за границей как же? — спросят нас, — ведь и в Копенгагене, в мирном Копенгагене, пьеса «На дне» имела огромный успех». И непременно должна была иметь его, скажем в ответ. Везде в Западной Европе, более, чем у нас, есть босяк, и босяк этот поднял голову. Слово «хулиган» принесено из Англии. В Дании в парламент вносился законопроект о телесном наказании за насилие над личностью. Законопроект этот не прошел, ибо нельзя насилие лечить насилием, и из истязания создавать юридическую норму, но возникновение такого законопроекта, очевидно указывает на то, что и Дании нелегко живется от проснувшегося и разнузданного босяка.

VII

Заключительная проповедь Сатина изложена в двух сценах. Лука ушел неизвестно куда. Жители ночлежки вспоминают его каждый по-своему. Барон называет его шарлатаном. Настя

за него заступается. Клещ находит, что Лука был хорош тем, что не любил правды.

С а т и н (*ударяя кулаком по столу*). Молчать! Вы все — скоты! Дубье... молчать о старике. (*Спокойнее*). Ты, Барон, — всех хуже!.. Ты — ничего не понимаешь... и — врешь! Старик не шарлатан! Что такое — правда? Человек — вот правда! Он это понимал... вы — нет! Вы тупы, как кирпичи... Я — понимаю старика... да! Он врал... но — это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... я — знаю! я — читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут!.. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая... ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего... и обвиняет умирающих с голода... Я — знаю ложь! Кто слаб душой... и кто живет чужими соками, — тем ложь нужна... одних она поддерживает, другие — прикрываются ею... А кто — сам себе хозяин... кто независим и не жрет чужого, зачем тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — Бог свободного человека!

Б а р о н. Bravo! Прекрасно сказано! Я — согласен! Ты говоришь... как порядочный человек!

С а т и н. Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди... говорят, как шулера? Да... я много позабыл, но — еще кое-что знаю! Старик? Он — умница!.. Он... подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем за его здоровье! Наливай!..

(Н а с т я наливает стакан пива и дает С а т и н у).

С а т и н (*усмехаясь*). Старик живет из себя... он на все смотрит своими глазами. Однажды я спросил его: дед! зачем живут люди?.. (*Стараясь говорить голосом. Луки и подражая его манерам*). «А — для лучшего люди-то живут, милачок! Вот, скажем, живут столяры и все — хлам-народ... И вот от них рождается столяр... такой столяр, какого подобного и не видала земля: всех превысил и нет ему в столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает... и сразу дело на двадцать лет вперед двигает... Так же и все другие... слесаря, там... сапожники и прочие рабочие люди... и все крестьяне...и даже господа — для лучшего живут! Всяк думает, что для себя проживает, ан выходит, что для лучшего! По сту лет... а, может, и больше, для лучшего человека живут».

(Н а с т я упорно смотрит в лицо С а т и н а. К л е щ перестает работать над гармонией и тоже слушает. Б а р о н, низко наклонив голову, тихо бьет пальцами по столу. А к т е р, высунувшись с печи, хочет осторожно влезть на нары).

С а т и н. «Все, милачок, все, как есть, для лучшего живут! Потому-то всякого человека и уважать надо... неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать может... может, он родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?.. Особливо же, деток надо уважать, ребятишек! Ребятишкам — простор надобен! Деткам-то жить не мешайте... Деток уважьте!»

Сатин по-своему понял Луку. Его слова о правде были условной уступкой окружающим, которые не понимали его. «Че-

ловец — вот правда!» Сказано очень громко, но не поясняется и последующими афоризмами: «Ложь — религия рабов и хозяев», «Правда — Бог свободного человека!».

Какой человек представляет собою правду? Нельзя же всякого считать синонимом правды потому лишь, что, по мнению Луки, «все, как есть, для лучшего живут». Коли все, то и те, которые живут ложью, и ненавистные Горькому «рабы и хозяева».

Желая замаскировать истинную свою мысль, Горький запутался и сбился. Ему хочется, чтобы не было рабов и хозяев, т. е. ему любо сравнить рабочих и хозяев. Ему желательно, чтобы все были свободными людьми, но он не понимает истинного значения свободы, как высоты независимого человеческого духа, — того духа, которого ничто поработить не может, если он сам не наденет на себя добровольного ярма, — того духа, до которого Господь не дозволил касаться сатане, отдавая ему на испытание многострадального Иова.

Максим Горький под свободой понимает освобождение от внешних, временных, преходящих условий человеческого общежития. Но без тех или иных условий жизнь общественная идти не может. Худые условия надо исправить, заменить лучшими. К этому все и стремятся, и Лука не подозревал, что он сказал против себя и Сатина, выразив, что «все, как есть, для лучшего живут». Но не для бессознательного лучшего, а для лучшего, основанного на законах природы, человеческого общежития, на законах Божеских, от века сущих, на данных, проверенных указаниями мудрого исторического опыта.

Все это Максиму Горькому недоступно. Он произнес напыщенно, устами пьяницы: «Человек — вот правда», и дал тем оправдание всему, всяческому и от всего уклонению. Между тем, если рассматривать «человека» не как зоологическое наименование двурукого и двуного млекопитающего, то, чтобы удостоиться этого звания, мало иметь инстинкты и похоти и стремиться к их удовлетворению. Надо нечто большее.

Необходимо, во-первых, помнить об образе и подобии Божию, по коему создан человек, во-вторых, знать, что каждая человеческая особь имеет одинаковые с другою права, но может осуществить их вполне лишь при совершенстве всех в совокупности сил тела, разума, духа, доброй нравственности.

Уклоняющиеся от путей этих, желающие главенствовать, потому что природа дала широкую хульную глотку, а кабак наделил пьяным угаром, ни имени человеческого не достойны, ни правами человеческими не смеют пользоваться.

А как же достигнуть истинного человеческого знания, если и Бог, и любовь сведены на степень более или менее пригодных фикций, самообманного марева?

Во второй из сцен, о которых мы говорим, Сатин вещает так, уговаривая Барона не мешать молиться Татарину.

Когда я пьян... мне все нравится... Н-да... Он — молится? Прекрасно! Человек может верить и не верить... это его дело! Человек — свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам и потому он — свободен... Человек — вот правда! Что такое чело-век?.. Это не ты, не я, не они... нет. Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! *(Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека)*. Понимаешь? Это — огромно! В этом — все начала и концы... Все — в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга! Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо! Чело-век! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо! Выпьем за человека, Барон! *(Встаем)*. Хорошо это — чувствовать себя человеком! Я — арестант, убийца, шулер — ну, да! Когда я иду по улице, — люди смотрят на меня, как на жулика...и сторонятся и оглядываются... и часто говорят мне: — мерзавец! Шарлатан! Работай! Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? *(Хохочет)*. Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек — выше! Человек — выше сытости!

В этом монологе заключается одно из популярнейших изречений Горького: «Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо!»

«Существует только человек!» Все — дело его рук и его мозга. Чего же вам больше. Какие еще обязанности лежать могут на людях, когда кроме них и их произвола ничего нет. И к этому, лишенному Бога и нравственности, человеку требуют уважения! Да во имя чего же? Уважение мы понимаем так: у людей есть идеалы, быть может, недостижимые вполне, но достигаемые отчасти. Достижение человеческой особью хотя некоторых ступеней этих идеалов вызывает соответственное к ней уважение. А уважать потому, что уважения требует пьяный Сатин или разрушитель Горький, никто и не может, и не станет.

Все наши слова были бы лишними, если бы Сатин был изображен объективно. Но он — глашатай идей Горького. Этого не скроешь ни пьяными словами о том, что «человек — выше сытости», ни другими фокусами.

Про Сатина, как действующее лицо пьесы, можно сказать, что пьяницы всегда пренебрегают сытостью, так как алкоголики аппетитом не обладают. Про Горького можно сказать, что

ставить человека куда-то выше сытости, по меньшей мере и неостроумно, и неискренно, когда все многочисленные произведения пресловутого Максима писаны в защиту голодающих и в осуждение несправедливости их голодания.

Как бы то ни было, пьеса «На дне» имела успех чрезвычайный. Нельзя не пожалеть того общества, которое в полном огол-тении самосознания, в забвении своих устоев, своих верований, в растлении нравственности, рвется, как римская толпа времен цезарей, ко всякой новинке и рукоплещет в неистовстве смраду, грязи, разврату, революционной проповеди, сладострастно обтирается, когда ему плюют в лицо со сцены босяцкими устами, в то время, как сам босяцкий атаман, Горький Максим, ударами пера, как ударами лома, рушит и самую почву, на которой стоит это общество.

Какой вредный писатель! Какие жалкие, слепые поклонники, читатели и зрители.

ГЛАВА ШЕСТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Биография Горького. — Легенда о нем. — Предвзятость творчества Горького. — Общий вывод.

I

В предыдущих главах настоящего очерка были разобраны или указаны все те сочинения Максима Горького, при помощи которых его литературный облик встает без прикрас во весь свой рост.

Приступая к последовательному и сразу чтению всех сочинений Горького, автор этого очерка был знаком с ними, по мере того, как они выходили в разное время и в разных изданиях. Читать взброд сочинения писателя — одно. Перечитать сразу все им написанное — другое. Начиная последовательное чтение, мы не имели никакой предвзятой идеи. Интересовало просто узнать причину огромного успеха Горького. В глубине же памяти оставалось лишь впечатление талантливости, своеобразности, чего-то нового в смысле популяризации босячества. Отрешившись от всех ходячих разговоров, от неумеренного восхищения и от ожесточенного порицания, автор этого очерка читал сочинения Горького с полным беспристрастием, с первого его рассказа до последних произведений. Уже не наша вина, что из чтения этого вырисовывалась определенная фигура революционного проповедника, знающего, что и для чего он де-

лает, действующего по определенному, заранее, — быть может, не им одним, — выработанному плану.

Мы были бы счастливы, если бы этот вывод наш мог быть опровергнут логическими доказательствами, мы охотно взяли бы все свои слова назад и не пожалели бы ни потраченного времени на чтение Горького и писание этого очерка, ни труда, на это дело положенного.

Но, увы, вместо опровержения вывода, к которому мы пришли, мы находим лишь подтверждение его в словах самого Горького, в его наброске «Человек», помещенном в «Сборнике товарищества “Знание”». Набросок этот не беллетристическое, а прямо учительное сочинение. В нем Максим Горький делает сам сводку всего разбросанного по его рассказам, романам и драмам. Мы далее скажем об этом наброске.

Принимая во внимание высказанное нами сейчас, представляет большой интерес сама биография Горького. В ней, быть может, найдутся данные к пониманию личности и роли этого писателя.

II

Из биографий Горького останавливаемся на той, которую дал г. В. Ф. Боцяновский в своей книге «Максим Горький. Критико-биографический этюд». Г-н Боцяновский — горячий поклонник Горького. Каждая страница его книги есть дифирамб излюбленному им писателю.

Биографические данные, им приводимые, потому особенно ценны, что заимствованы из материалов, еще не напечатанных и хранящихся в архиве г. Венгерова, который, как известно, присвоил себе за последнее время право и положение первого русского критика. Выводы и работы г. Венгерова часто сомнительны, еще более сомнительна его компетентность в оценке русской словесности и ее произведений, но материалы у него несомненно имеются весьма интересные.

Биография Максима Горького, — пишет г. Боцяновский, — не совсем обычна. Пишущий под этим псевдонимом Алексей Максимович Пешков родился 14 марта 1869 года, в Нижнем Новгороде, в семье красильщика Василия Каширина, от дочери его Варвары и пермского мещанина Максима Савватиева Пешкова, по ремеслу драпировщика или обойщика. Дед Горького со стороны отца был офицером, которого Николай I разжаловал в солдаты за жестокое обращение с нижними чинами.

Это был человек настолько крутой, что отец Горького с десятилетнего возраста до семнадцати лет пять раз бегал от него. Последний раз ему уда-

лось бежать из семьи своей навсегда, и он пешком пришел из Тобольска в Нижний Новгород, где поступил в ученики к драпировщику. По рассказам его матери, бабушки Горького, это был умный, добрый и очень веселый человек. По-видимому, он отличался некоторыми способностями и знал грамоту, так как, уже будучи двадцати двух лет, занимал видную должность управляющего конторой пароходства Колчина (ныне Карповой) в Астрахани, где в 1873 году умер от холеры, заразившись этой болезнью от своего сына (Горького).

Дед со стороны матери начал свою карьеру бурлаком на Волге. Через три путины он был уже приказчиком при караване балахнинского купца Заева*, потом занялся окраской пряжи, разжился и открыл в Нижнем Новгороде красильное заведение на широких началах. Будучи деловым и практичным, он, спустя самое непродолжительное время, владел уже несколькими домами в городе, имел три мастерских для набойки и окраски материи, был выбран в цеховые старшины, но, прослужив в этой должности три трехлетия, отказался от нее, оскорбленный тем, что его не выбрали в ремесленные головы... Будучи очень религиозным, он в то же время был до жестокости деспотичным и болезненно скупым. Прожив 92 года, он за год до смерти (в 1888 г.) сошел с ума.

Отец и мать Горького обвенчались «самокруткой». Богатый и гордый дед не мог, конечно, выдать свою любимую дочь за безродного и небогатого человека, каким представлялся ему отец Горького. Семейная обстановка, в которой проходило детство Горького, не представляла собой ничего благоприятного для его развития. Четырех лет он потерял отца. Мать, вскоре затем вышедшая замуж второй раз, передала его совершенно на руки деда, который, научив внука читать по Псалтырю и Часослову, определил его в школу, где ему пришлось пробыть всего только пять месяцев. Заразившись оспой, Горький кончил учение и больше уж его не возобновил. В это время мать умерла от скоротечной чахотки, а дед разорился. Из родственников только одна бабушка, чрезвычайно добрая и самоотверженная старушка, любила мальчика, остальные же относились к нему если не враждебно, то совершенно равнодушно. Никто из них поэтому не позаботился даже, чтобы дать мальчику хотя бы первоначальное образование, и, по достижении им девятилетнего возраста, его отдали в «мальчишки» в магазин обуви, но месяца через два он обварил себе руки кипящими щами и был отослан хозяином вновь к деду.

По выздоровлении его отдали в ученики к чертежнику, дальнему родственнику, но через год вследствие очень тяжелых условий жизни Горький убежал от него и поступил на пароход в ученики к повару. Это был гвардии отставной унтер-офицер Михаил Акимов Смурый, человек сказочной физической силы, грубый, очень начитанный. Он возбудил в Горьком интерес к чтению книг. Первой понравившейся Горькому «до безумия» книгою была брошюра «Предание о том, как солдат спас Петра Великого». У Смурога был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная

* Упомянется в романе «Фома Гордеев».

библиотека в мире. Эккертгаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклиф с томом «Современника», тут же была «Искра» за 1864 год, «Камень Веры» и книжки на малорусском языке.

Почувствовав симпатию к печатному слову, Горький усердно принялся за чтение всего, что только ни попало ему под руку. Одно за другим он перечитывал такие «классические произведения неизвестных авторов», как «Андрей Бесстрашный», «Япанча», «Яшка Смертенский», «Гуак, или Непреборимая верность» и т. п. Повар Смурый заставлял его читать Жития Святых, Эккертгаузена, Гоголя, Глеба Успенского, Дюма-отца и многие книжки франкмасонов. Чтение книг романтически-сказочного характера, в которых разного рода герои совершают необыкновенные подвиги, с раннего детства настраивало Горького на героический лад и, быть может, привило ему ту неудовлетворенность будничной серенькой жизнью, то искание чего-то высшего, героического, которое с такой силой проявилось в его позднейших литературных произведениях.

Последний вывод биографа Горького — единственный в своем роде. У Горького есть будто бы «героический лад», он ищет «чего-то высшего, героического», и все это потому, что он начитался Дюма-отца. Как могло случиться, что в благородных образах д'Артаньяна («Три мушкетера»), Бюсси («Графиня Монсо-ро»), кавалера де Мезон-Руж, графа де Монте-Кристо обрел свое вдохновение певец вонючего, пьяного, опошлившегося босячества, живописец разных Коноваловых, Орловых, Пиляев, Васек Красных, всей этой ватаги гнусных, топорщащихся, возящихся и смердящих червей — это секрет биографа. Как всякий абсурд, заверение г. Боцяновского не имело бы для нас ровно никакого смысла, тем более, что речь идет о Максиме Горьком, а не о его биографе. Но тут важно, до какого сумбура мысли способны доходить одурманенные своим поклонением избранному кумиру почитатели Горького. Дюма-отец — первоначальный вдохновитель Горького в смысле героического настроения!? Да как же можно осмелиться поставить рядом эти два имени? Дюма-отец, этот образец чистых мыслей, не написавший в сотнях томов своих сочинений ни одной строки, способной ввести в соблазн, популяризовавший историю своей родины, гениальный сказочник, давший ряд образов идеального благородства, храбрости, любви к отечеству, преданности трону, Дюма, который, невзирая на свое легкомыслие в вопросах исторической точности и на свою склонность рассказывать сказки, как был, есть и останется великим писателем. И — Максим Горький! Гнойный пузырь на развращенности современной мысли, отравитель чистых порывов молодежи, кощунственный ругатель всего, чем жило и из чего сложилось общество, проповедник бунта, босяцкий провозвестник революции!

Нет! чтобы дойти до такой мысли, до такого сопоставления, надо совершенно утратить и чувство меры, и мерку здравого смысла.

Чтение, — продолжает биограф, — возбудило в Горьком потребность более или менее систематического учения, которое было прервано им в детстве. После 15-ти лет он возымел «свирепое желание» учиться, с какой целью поехал в Казань, предполагая, что науки желающим даром преподаются. Оказалось, что «оное не принято», вследствие чего он поступил в крендельное заведение по 3 рубля в месяц. Это была самая тяжелая из всех опробованных им работ, если не считать непродолжительной работы на соляных промыслах, картинку которой он дал в небольшом очерке «На соли». Обладая тенором, впоследствии пропавшим, Горький, чувствовавший любовь к пению, поступил в 1888 или 1889 году в хор, который в это время набирал оперный антрепренер Орлов-Соколовский. Этот эпизод интересен в том отношении, что вместе с Горьким явился на пробу голоса его друг Шалапин, который, однако, был забракован.

В этот период жизни он получил возможность близко изучить среду «бывших людей», в которой он довольно долго жил и потому его рассказы «Коновалов», «Мой спутник», «Дело с застежками» и «Бывшие люди», являясь вполне правдивым отражением его личного житья в это время, имеют почти автобиографическое значение. По ним можно составить себе довольно определенное понятие не только о фактах внешней жизни Горького, но отчасти также и о его внутреннем настроении. Наравне с бывшими людьми он работал на Устье, пилил дрова, таскал грузы, задыхался в булочной... В то же время каждую свободную минутою он пользовался для того, чтобы сесть за книжку, почитать, подумать над вопросами, которые час-от-часу становились все более и более «проклятыми», все более и более мучительными. Решать эти вопросы и читать книги можно было, конечно, только урывками, во время коротеньких досугов, оставшихся между делом. Найдя себе внимательного слушателя и собеседника в лице своего начальника, пекаря Коновалова, Горький нередко превращал душевные стены пекарни в аудиторию. Посадят, бывало, хлеб в печь, а сами за книжку. И вот стены пекарни выслушивают «Подлиповцев» Решетникова, «Бунт Стеньки Разина» Костомарова, «Тараса Бульбу» Гоголя, «Бедных людей» Достоевского и т. д. и т. д. «Подлиповцы» были прочитаны Горьким в течение одной ночи. Посадят печь, приготовят другую и опять за чтение, а там начинаются дебаты по поводу прочитанного, о действиях героев, о смысле жизни и т. д. и т. д. Праздники давали возможность Горькому и Коновалову выходить на время из той, в полном смысле слова ямы, какою была пекарня, на свежий воздух, пожить на лоне природы, повидать людей.

Дальше биограф дает выдержки из рассказа Горького «Коновалов», придавая им безусловно биографическое значение. Горький и Коновалов соприкасаются с природой и тогда Горькому становится легче. Но после общения с природой приходится идти в ту же сырую и мрачную яму пекарни.

О его настроении в это время, — говорит биограф, — лучше всего можно составить себе понятие по рассказу «Однажды осенью». В нем описан герой, который, очутившись без гроша в кармане и без квартиры, бесплодно искал работы и мучился настолько голодом, что «шлепая по сырому песку, упорно разглядывал его с желанием открыть в нем какие-нибудь остатки питательных веществ». Положение его было тем более ужасно, что он в это время испытывал не только физические, но и нравственные страдания. «Подумайте! — восклицает герой рассказа, — ведь я в то время был серьезно озабочен судьбами человечества, мечтал о реорганизации социального строя, о политических переворотах, читал разные дьявольски мудрые книги, глубина мысли которых, наверное, недосыгаема была даже для авторов их, — я в то время всячески старался приготовить из себя “крупную общественно-активную силу”. Мне казалось даже, что отчасти я уже выполнил мою задачу; во всяком случае в то время я в представлениях о себе самом уже доходил до признания за собой исключительного права на существование, как за величиной, для жизни необходимой и вполне способной сыграть в ней крупную историческую роль!» Результатом этих страданий было, в 1888 году, покушение на самоубийство, не имевшее, к счастью, смертельного исхода. «Прохворав, сколько требовалось, — добродушно вспоминает Горький, — я ожил, дабы приняться за торговлю яблоками».

После Казани Горький пробует счастья в Царицыне, где занимает должность железнодорожного сторожа.

Как ни тяжела была эта служба, Горький, однако, находил время и возможности удовлетворять свои интеллектуальные потребности, много писал и вел обширную переписку. Как рассказывает начальник одной из станций этой дороги, Горький чуть ли не ежедневно получал письма. В свободное от службы время его всегда можно было встретить окруженного толпой «сослуживцев»-рабочих, которым он читал какую-нибудь брошюру духовно-нравственного содержания, по географии, истории, астрономии и т. п. Начитанность Горького уже в это время была настолько велика, что он мог разъяснить своему железнодорожному начальству, кто такие масоны, и даже не раз поправлял канцелярские бумаги. Начальство было так удивлено разносторонними познаниями своего сторожа, что никак не хотело поверить в его «домашнее» образование и было глубоко убеждено, что «Пешков — непременно выгнанный студент».

По случаю призыва к отбыванию воинской повинности Горький появляется в Нижнем Новгороде. В солдаты, однако, он не попадает, так как «дырявых не берут», и он становится продавцом баварского кваса, а затем пристраивается письмоводителем у присяжного поверенного А. И. Ланина. Пользующийся всеобщим уважением в Нижнем Новгороде А. И. Ланин принял горячее участие в судьбе многострадального члена «малярного цеха» и, по словам самого Горького, имел «неизмеримо огромное влияние» на его образование. Так же, как и в Казани, Горький тяготел к кружкам интересовавшейся проклятыми вопросами молодежи и уже тогда обращал на себя внимание, как «душа живая и умница». В одном из таких кружков в самом начале девяностых годов встретился с Горьким поэт

А. М. Федоров, которому он прочел свое первое печатное произведение — юмористическое стихотворение, напечатанное в «Стрекозе». По словам Федорова, Горький уже тогда обнаруживал большой художественный вкус и, выслушав то или иное стихотворение, «делал всегда чрезвычайно важные указания и чутко улавливал малейший проблеск настроения»...

Как ни хорошо жилось Горькому в Нижнем Новгороде, где он отдохнул, наконец, душой, но его снова потянуло к бродячей жизни. Почувствовав себя, по его выражению, «не на своем месте среди интеллигенции», он в 1890 году ушел путешествовать. Из Нижнего Новгорода он отправился в Царицын, затем исходил Донскую область, Украину, зашел в Бессарабию, откуда вдоль южного берега Крыма прошел на Кубань, в Черноморье.

В октябре 1892 года Горький жил уже в Тифлисе, где работал в железнодорожных мастерских. В этом же году, в местной газете «Кавказ» он напечатал свой первый рассказ «Макар Чудра», обнаруживший несомненный талант в начинающем авторе. Оставив через некоторое время Тифлис, Горький опять вернулся на Волгу, в родные края, и здесь начал писать небольшие рассказы для казанской газеты «Волжский Вестник». Не ограничиваясь провинциальной печатью, Горький послал рассказ «Емельян Пилляй» в «Русские ведомости», где он и появился. Счастливая случайность свела Горького с В. Г. Короленко, бывшим в это время в Нижнем Новгороде и принявшим большое участие в «начинающем» писателе. «В 1893—1894 гг., — сообщает Горький, — я познакомился в Нижнем Новгороде с В. Г. Короленко, которому обязан тем, что попал в большую литературу. Он очень много сделал для меня, многое указал, многому научил». Это значение Короленко в своем литературном развитии Горький особенно подчеркивает в письме Д. Городецкому. «Напишите об этом, — требует от г. Городецкого Горький, — непременно напишите: его, Горького, учил писать Короленко, а если Горький мало усвоил от Короленко, в этом виноват он, Горький. Пишите: первым учителем Горького был солдат-повар Смурый, вторым — адвокат Ланин, третьим — Александр Мефодьевич Калюжный, человек «вне общества», четвертым — Короленко»...

После этого всего Горького стали везде печатать нарасхват. При поездке в 1901 году в Ялту Горький знакомится с графом Толстым и близко сходитя с Чеховым.

«Таким образом, — восклицает патетически биограф Горького, — в этом небольшом уголке крымского побережья одновременно собрались виднейшие представители нашей современной литературы».

И Толстому пришлось лезть в один мешок с Дюма.

В биографии, написанной г. Боцяновским, весьма характерно указание на то, что «разносторонние познания», проявленные железнодорожным сторожем Пешковым, заставили начальство предполагать в нем «выгнанного студента».

Действительно ли предполагало это начальство железнодорожного сторожа, — мы не умеем сказать, но что подлинность

биографии Горького не раз подвергалась сомнению людьми самых разнообразных степеней развития и взглядов, — это верно. Слишком много, как видно из предыдущих глав настоящего очерка, последовательности и продуманности в сочинениях Горького и в развитии его теорий, чтобы не заметить во всем его создании предвзятого плана, чтобы иметь возможность отнести на долю бессознательного творчества искусное введение им, все увеличивающимися дозами, яда босячества в общественный организм.

По этой причине, ввиду этой предвзятости, о Горьком сложилась и ходит легенда, факты которой не могут быть проверены, но некоторая неправдоподобность которой поддерживается следующими умозаключениями.

Как бы ни был умен самоучка, как бы ни высоко он развился, искусственность его умственного развития всегда скажется хотя бы в манере передачи своих мыслей и мнений. Человек самый заурядный, но выросший в культурной среде, воспринимает в детстве зачатки множества познаний почти бессознательно, мало-помалу, от окружающих. Когда наступает пора последовательного обучения, то обучаемый, сам того не ведая, ко многому приступает уже до известной степени подготовленным. Вследствие этого в жизни, — а если человек делается писателем, в его сочинениях, — каждая мысль является облеченной в особую форму, представляет собою не нечто сразу приобретенное, а органически сросшееся с выразителем мысли. Ломоносов, невзирая на свою гениальность и на то, что путем усидчивого труда сумел сделаться европейским ученым, обнаруживает в себе постоянно самоучку — человека, который приобрел свои обширные познания в том возрасте, когда для других общеобразовательное обучение уже бывает окончено.

У Максима Горького иногда в его вовсе неглубоких размышлениях чувствуется, что тут говорит не мужичок, вчера набравшийся ума-разума, а человек, с детства усвоивший себе круг сложных идей, которые послужили материалом для изложения его воззрений.

В пользу легенды говорит также и указание всех биографов на познания Горького в истории франкмасонства и его любовь к этим познаниям. В настоящее время франкмасоны совершенно ожидали и космополитические цели франкмасонства и всееврейства одни и те же. Они заключаются в конечном разрушении христианской культуры, христианских обществ и христианских государств¹⁸. Невозможно было бы видеть в Максиме Горьком посланца и уполномоченного франкмасонства и еврей-

ства, последовательно выполняющего возложенное на него хитрое и мудреное поручение развращающей революционной проповеди, но вся сумма его литературных поступков придает этому неправдоподобию оттенок некоторого вероятия.

Мы сами не возьмем на себя неблагодарной задачи доказывать, что Максим Горький не Алексей Максимович Пешков, а «иной неведомый избранник», но умолчать о ходовой и ходячей легенде мы не считали себя в праве. Быть может, и Горький, и его сторонники, и пособники даже желали бы, чтобы та или иная легенда окружила ореолом таинственности и неразгаданности певца босячества... быть может, это подозреваемое в них желание и было причиной возникновения легенды.

III

Принимая на веру факты биографии Горького, изложенные выше, мы должны остановиться на одном из них: на покушении Горького на самоубийство. Об этом и ему самому, и его биографам было бы лучше всего молчать. Многие видят в самоубийстве проявление слабости духа, другие склонны видеть в нем необыкновенный героизм и чрезвычайное мужество. Но во всяком случае, самоубийство dokonченное — явление ужасное. Самоубийство неудавшееся неизбежно возбуждает смех и презрение к неудачнику, который, дойдя до сознания, что ему следует себя из мира убрать, этого даже не сумел сделать. Хвастаться тут, как ни повернуть вопрос, нечем. Мы не знаем, какими способами лишал себя жизни Горький, но так как при сообщении о непринятии его в военную службу говорится, что «дырявых» на службу не принимают, можно заключить, что он стрелялся.

Максим Горький не один из таких неудавшихся покусителей. То же самое совершал другой «знаменитый» современный писатель, порнограф и психопат Леонид Андреев. То же самое совершали и совершают десятки и сотни недоучек, капризных и нервных себялюбцев, которым жизнь не улыбалась, потому что они, в своем тунеядстве и распущенности воли и поступков, не сумели овладеть ею.

Замечательно, что и Горький, сообщивший сведение о своем покушении на самоубийство, и его биограф г. Боцяновский не замечают, в какой мере этим некрасивым поступком умалется человеческое достоинство Горького. В подробной биографии и это сведение безусловно необходимо, ибо ничто из черт жизни

или характера не должно быть упущено. Но подробные биографии живущих еще людей не пишутся, так как и написать их невозможно, пока человек жив. В кратком же жизнеописании волею-неволею приходится делать выбор фактов и, право, с точки зрения желающих Горькому добра, об этом покушении на самоубийство было предпочтительнее не упоминать.

Если принимать биографию Горького во всех мелочах на веру, то перед нами из рассказа г. Боцяновского обрисовывается такая фигура: способный мальчик, рожденный и выросший в неблагоприятных условиях, очень скоро, возмнив о себе, стал смотреть на людей свысока, а на себя с большим уважением. Из этого самопоклонения и вырос тот писатель, которого теперь знает вся грамотная Россия. Это самопоклонение, поставление себя выше окружающего отразилось в каждой строке Горького. Оттого и чувствуется в его писаниях красной нитью проведенная мысль: я сказал и потому это верно.

Такая самоуверенность имеет своего рода гипнотическое влияние на читателей. Этим качеством сильны всякие имеющие общественный успех проповедники. Им силен и Горький, и в нем часть его успеха.

Об успехе этом стали говорить за последнее время, что он уменьшается, что мода на Горького проходит. Слава Богу, если бы это было так, но, к сожалению, оно не совсем так. Горький, после издания пьесы «На дне», не выпускал новых произведений. Старые издания разошлись в неслыханном до Горького количестве экземпляров. Мы уже подсчитывали приблизительно, что Горький имеет в России до 5 миллионов читателей. Больше их быть не может. Нельзя же ожидать, что те, кто уже приобрел сочинения Горького, будут покупать вторые экземпляры имеющихся у них книг. О Горьком говорят меньше... Потому что с ним освоились, что он вошел в обиход жизни, но не потому, чтобы тлетворное влияние его стало ослабевать.

Литература о Горьком разрастается. Книжка г. Боцяновского, нами цитированная — не единственная. Их достаточно и еще есть. Есть между ними и забавная по внешности, как и по содержанию, книжка г. Врадия — «Краски Максима Горького»¹⁹. Оригинальность этого песнопения в честь Горького вся выражается уже одной обложкой брошюры цвета лосося; на обложку капнула откуда-то и слегка разбрызгалась капля не то крови, не то сурику.

Об истинном успехе и истинном вреде Горького можно судить не столько по количеству проданных экземпляров его сочинений и по хвалебной о нем литературе, сколько по наблюде-

ниям над словесными восторгами его почитателей. Надо видеть негодование незрелых поклонников Горького, когда перед ними осмелишься не только разоблачать, как это делается на этих страницах, их кумира, но даже просто без благоговения отнестись к нему. Среди них Горький стоит столь прочно, что воззрения его считаются, — словно, прости, Господи, евангельские истины, — непререкаемыми. Никакой спор с поклонниками Горького невозможен. При малейшем порицании босяцкого поэта, они или снисходительно улыбаются, не желая возражать «отупевшей старости» или «буржуйной» морали собеседника, или начинают говорить дерзости.

Борьба с этим утвердившимся влиянием Горького весьма затруднительна. Все логические доказательства в таких случаях оказываются бессильными.

Увлекаться свойственно молодости, и если не Горьким, то тем или иным она увлекаться будет. Источник таких увлечений имеет чистое начало. Молодость стремится к новому слову, к познанию истины, к проникновению в сущность причин зла, царящего в мире, — и охотно верит, что зло излечить можно. Не трудно убедить молодость в том, что спасение лежит, ну, хотя бы, в босяках, сформированных в общественный класс, что настоящее исцеление общественных недугов можно найти в буре, о которой гласит «Буревестник» Горького. А затем цена вещей будет устанавливаться самым странным образом. Дикое нападение босяка на офицера, находящегося перед фронтом, превратится в общественный протест угнетенного человека, который был рожден, чтобы быть независимым, — против «представителей грубой силы».

Офицер — верный слуга Царя и родины — обратится в «преторианца», в раба неправой власти и т. д. и т. д. На этой дорожке, как и на всякой, один первый шаг труден, а остальные уже идут сами собою.

Остается жалеть, что в молодежь вливаются незаметно, при помощи произведений изящной словесности, ядовитейшие начала, но противоядия здесь нет. Есть только организмы больные, слабые, которые гибнут от отравы, и бывают организмы сильные, которые перерабатывают сами яд и уничтожают его в себе.

Тут остается только на Бога да на выносливость молодежи уповать. И винить молодежь трудно. Как будешь винить того, кто угорел в угарной комнате? Он, может быть, и сам не рад, да, ведь, против окиси углерода устоять трудно.

Кого следует винить, так это тех легкомысленных борзописцев, которые стали восхвалять и превозносить Максима Горь-

кого, ради оригинальности, ради озорства, по отсутствию более приличной темы для фельетона. Еще более следует винить тех, кто, понимая яд, заключенный в писаниях Горького, вред общественный и государственный, ими приносимый, все-таки, а может быть именно вследствие сознания этого вреда, — не постыдились неумеренными похвалами раздуть значение таланта Горького, навязывать его чтение, усиленно рекомендовать его. Следует винить тех, кто, пользуясь хотя бы и случайно приобретенным публицистическим авторитетом, авторитет этот отдал на служение успеху Горького. Следует винить и тех, кто в погоне за успехом скандала вывел на подмостки, при тщательно обдуманной обстановке, босяков, публично выкликающих революционные речи о разрушении общества и всех основ его.

Все эти похвалы, все это необузданное кликушество сознательных и бессознательных сообщников Максима Горького в его походе против общества, государства, нравственности и религии сделали то, что среди гвалта дифирамбов, Горький едва не попал в академическое кресло, едва не сделался почетным академиком, едва не получил того звания, которое учреждено в память великого поэта Пушкина.

Обилие сообщников Горького несомненно доказывает, что общество наше серьезно нездорово, ибо в обществе здоровом, себя сознающем и уважающем, понимающем словесный смысл прочитанного и умеющем оценивать степень возможного влияния печатного произведения, сочинения Горького не заслужили бы многого...

Дело сделано. Горький царил; по нашему мнению, царит и доселе. Босяк, как революционная сила, создан в теории и создается на практике. И пусть бы ныне Горького даже забыли, вплоть до его имени, — все равно: дело сделано. Если забыть о Горьком, как об источнике босяцкого зла, то это, пожалуй, еще хуже будет, так как будет неизвестно, где гнездится корень зла.

Обличить Горького, раскрыть его карты, это — только первая половина задачи. Есть еще вторая половина и, быть может, важнейшая и труднейшая во всяком случае. Босячество в его теперешнем виде ожидает своего исследователя, спокойного, терпеливого, способного, при исследовании, до времени скрыть свое душевное негодование и дойти в исследовании до конца. Лишь зная недуг, возможно уврачевать его. А недуг босячества требует врача, если нужно, беспощадного, к членам, зараженным гангреною.

IV

В этой, последней, главе необходимо было свести к одному знаменателю все говоренное об учении Горького. Максим Горький значительно облегчил нам этот труд.

В книге первой «Сборника товарищества «Знание» за 1903 год» (вышла в 1904 году) помещен этюд Горького под заглавием «Человек». В этом произведении, которое стремится быть написанным в стихах, хотя и напечатано, как печатается проза, — Горький сам дает вытяжку из своего учения. Эта вещь так нужна для окончательного понимания Горького и так невелика, что приводим ее во всей ее неприкосновенности.

I

...В часы усталости духа, — когда память оживляет тени прошлого и от них на сердце веет холодом, — когда мысль, как бесстрастное солнце осени, освещает грозный хаос настоящего и зловеще кружится на одном месте, бессильная подняться выше, лететь вперед; — в тяжелые часы усталости духа, силою моего воображения, я вызываю пред собой величественный образ Человека!

Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его, необъятный, как мир, медленно шествует — вперед! и — выше! трагический прекрасный Человек!

Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной, мощной Мысли, той Мысли, что постигла чудесную гармонию вселенной, той величавой силы, которая в моменты утомленья — творит Богов, в эпохи бодрости — их низвергает.

Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то в глубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом — «зачем он существует?» — он мужественно движется — вперед! и — выше! по пути к победам над всеми тайнами земли и неба.

Идет он, орошая кровью сердца свой трудный, одинокий, гордый путь: и создает из этой жгучей крови — поэзии нетленные цветы; тоскливый крик души своей мятежной он в музыку искусно претворяет, из опыта — науки создает и, каждым шагом украшая жизнь, как солнце землю щедрыми лучами, — он движется все — выше! и — вперед! звездой путеводной для земли...

Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно-спокойна, точно меч, — идет свободный, гордый Человек, далеко впереди людей и выше жизни, один — среди загадок бытия, один среди толпы своих ошибок... и все они ложатся тяжким гнетом на сердце гордое и ранят сердце, и терзают мозг, и, возбуждая в нем горячий стыд за них, зовут его — их уничтожить.

Идет! В груди его режут инстинкты, противно ноет голос самолюбья, как наглый нищий, требуя подачки, привязанностей цепкие волокна

опутывают сердце, точно плющ, питаются его горячей кровью и громко требуют уступок силе их... все чувства овладеть желают им, все жаждет власти над его душою.

А тучи разных мелочей житейских подобны грязи на его дороге и гнусным жабам на его пути.

И как планеты окружают солнце — так Человека тесно окружают созданыя его творческого духа: его — всегда голодная — Любовь, вдали за ним прихрамывает Дружба; пред ним идет усталая Надежда; вот Ненависть, охваченная Гневом, звенит оковами терпенья на руках, а Вера смотрит темными очами в его мятежное лицо и ждет его в свои спокойные объятия...

Он знает всех в своей печальной свите — уродливы, несовершенны, слабы созданыя его творческого духа!

Одетые в лохмотья старых истин, отравленные ядом предрассудков, они враждебно идут сзади Мысли, не поспевая за ее полетом, как ворон за орлом не поспевает, и с нею спор о первенстве ведут и редко с ней сливаются они в одно могучее и творческое пламя.

И тут же — вечный спутник Человека — немая и таинственная Смерть, всегда готовая поцеловать его в пылающее жаждой жизни сердце.

Он знает всех в своей бессмертной свите и, наконец, еще одно он знает — Безумие...

Крылатое, могучее, как вихрь, оно следит за ним враждебным взором и окрыляет Мысль своею силой, стремясь вовлечь ее в свой дикий танец...

И только Мысль — подруга Человека, и только с ней всегда он неразлучен, и только пламя Мысли освещает пред ним препятствия его пути, загадки жизни, сумрак тайн природы и темный хаос в сердце у него.

Свободная подруга Человека, Мысль всюду смотрит зорким, острым взглядом и беспощадно освещает все:

— Любви коварные и пошлые уловки, ее желанье овладеть любимым, стремление унижать и унижаться и — чувственности грязный лик за ней; пугливое бессилие Надежды и Ложь за ней — сестру ее родную, — нарядную, раскрашенную Ложь, готовую всегда и всех утешить и — обмануть своим красивым словом;

— Мысль освещает в дряблом сердце Дружбы ее расчетливую осторожность, ее жестокое, пустое любопытство и зависти гнилые пятна и клеветы зародыши на них;

— Мысль видит черной Ненависти силу и знает: если снять с нее оковы, — тогда она все на земле разрушит и даже справедливости побегу не попадет!

Мысль освещает в неподвижной Вере и злую жажду безграничной власти, стремящейся поработить все чувства, и спрятанные когти изуверства, бессилие ее тяжелых крылий, и — слепоту пустых ее очей.

Она в борьбу вступает и со Смертью; ей, из животного создавшей Человека, ей, сотворившей множество богов, системы философские, науки — ключи к загадкам мира, — свободной и бессмертной Мысли — противна и враждебна эта сила, бесплодная и часто глупо-злая.

Смерть для нее ветошнице подобна, — ветошнице, что ходит по задворкам и собирает в грязный свой мешок отжившее, гнилое, ненужные отбросы, но порою ворует нагло здоровое и крепкое.

Пропитанная запахом гниения, окутанная ужаса покровом, бесстрастная, безличная, немая, суровою и черною загадкой всегда стоит пред Человеком Смерть, а Мысль ее ревниво изучает — творящая и яркая, как солнце, исполненная дерзости безумной и гордого сознания бессмертья...

Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше!

II

Вот он устал, шатается и стонет; испуганное сердце ищет Веры и громко просит нежных ласк Любви.

И Слабостью рожденные три птицы — Уныние, Отчаяние, Тоска, — три черные уродливые птицы — зловеще реют над его душою и все поют ему угрюмо песню о том, что он — ничтожная букашка, что ограничено его сознание, бессильна Мысль, смешна святая гордость и — что бы он ни делал, он умрет.

Дрожит его истерзанное сердце под эту песнь и лживую, и злую, сомнений иглы колют мозг его, и на глазах блестит слеза обиды...

И если гордость в нем не возмутится, страх Смерти властно гонит Человека в тенищу Веры, Любви, победно улыбаясь, влечет его в свои объятия, скрывая в громких обещаньях счастья печальное бессилье быть свободной и жадный деспотизм инстинкта...

В союзе с Ложью, робкая Надежда поет ему о радостях покоя, поет о тихом счастье примиренья и мягкими, красивыми словами баюкает дремотствующий дух, толкая его в тину сладкой Лени и в лапы Скуки, дочери ее.

И, по внушенью близоруких чувств, он торопливо насыщает мозг и сердце приятным ядом той циничной Лжи, которая открыто учит, что Человеку нет пути иного, как путь на скотный двор спокойного довольства самим собою.

Но Мысль горда, и Человек ей дорог, — она вступает в злую битву с Ложью, и поле битвы — сердце Человека.

Как враг, она преследует его; как червь, неутомимо точит мозг; как засуха опустошает грудь; и, как палач, пытается Человека, безжалостно сжимая его сердце бодрящим холодом тоски по правде, суровой мудрой правде жизни, которая хоть медленно растет, но ясно видима сквозь сумрак заблуждений, как некий цветок, рожденный Мыслью.

Но если Человек отравлен ядом Лжи, неизлечимо твердо верит, что на земле нет счастья выше полноты желудка и души, нет наслаждений выше сытости, покоя и мелких жизненных удобств, тогда в плену ликующего чувства печально опускает крылья Мысль и — дремлет, оставляя Человека во власти его сердца!

И, облаку разному подобна, гнилая Пошлость, подлой Скуки дочь, со всех сторон ползет на Человека, окутывая едкой, серой пылью и мозг его, и сердце, и глаза.

И Человек теряет сам себя, перерожденный слабостью своею в животное без гордости и Мысли...

Но если возмущенье вспыхнет в нем, оно разбудит Мысль, и вновь идет он дальше, один сквозь терния своих ошибок, один среди жгучих искр своих сомнений, один среди развалин старых истин!

Величественный, гордый и свободный, он мужественно смотрит в очи правде и говорит сомнениям своим:

— Вы ждете, говоря, что я бессилен, что ограничено сознание мое! Оно — растет! Я это знаю, вижу, я чувствую — оно во мне растет. Я постигаю рост сознания моего моих страданий силой, и — знаю — если б не росло оно, я не страдал бы более, чем прежде.

— Но с каждым шагом я все большего хочу, все больше чувствую, все больше, глубже вижу, и этот быстрый рост моих желаний — могучий рост сознания моего! — Теперь оно во мне подобно искре — ну, что ж? Ведь искры — это матери пожаров! Я — в будущем — пожар во тьме вселенной! И призван я, чтоб осветить весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти гармонию между собой и миром, в себе самом гармонию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на этой исстрадавшейся земле, покрытой, как накожную болезнь, корой несчастий, скорби, горя, злобы, — всю злую грязь с нее смести в могилу прошлого!

— Я призван для того, чтобы распутать узлы всех заблуждений и ошибок, связавшие запуганных людей в кровавый и противный ком животных, взаимно пожирающих друг друга!

— Я создан Мыслию затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное и грязное, все злое, — и новое создать на выкованных Мыслию незыблемых устоях свободы, красоты и — уваженья к людям!

— Непримирымый враг позорной нищеты людских желаний, хочу, чтоб каждый из людей был Человеком!

— Бесмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно, весь уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом, и дарами духа!

— Да будут прокляты все предрассудки, все предубеждения и привычки, опутавшие мозг и жизнь людей, подобно липкой паутине. Они мешают жить, насилуя людей, — я их разрушу!

— Мое оружие — Мысль, а твердая уверенность в свободе Мысли, в ее бессмертии и вечном росте творчества ее — неисчерпаемый источник моей силы!

— Мысль для меня есть вечный и единственно не ложный маяк во мраке жизни, огонь во тьме ее позорных заблуждений; я вижу, что все ярче он горит, все глубже освещает бездны тайн, и я иду в лучах бессмертной Мысли, вослед за ней, все — выше! и — вперед!

— Для Мысли нет твердынь несокрушимых и нет святынь незыблемых ни на земле, ни в небе! Все создается ею, и это ей дает святое, неотъемлемое право разрушить все, что может помешать свободе ее роста.

— Спокойно сознаю, что предрассудки — обломки старых истин, а тучи заблуждений, что ныне кружатся над жизнью, все созданы из пепла

старых правд, сожженных пламенем все той же Мысли, что некогда их сотворила.

— И сознаю, что побеждают не те, которые берут плоды победы, а только те, что остаются на поле битвы...

— Смысл жизни — вижу в творчестве, а творчество самодовлеет и безгранично!

— Иду, чтобы сгореть, как можно ярче, и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня моя награда.

— Иных наград не нужно для меня, я вижу: власть — постыдна и скучна, богатство — тяжело и глупо, а слава — предрассудок, возникший из неумения людей ценить самих себя и рабской их привычки унижаться.

— Сомнения! Вы — только искры Мысли, не более. Сама себя собою испытывая, она родит вас от избытка сил и кормит вас — своей же силой!

— Настанет день — в груди моей сольются в одно великое и творческое пламя мир чувства моего с моей бессмертной Мыслью, и этим пламенем я выжгу из души все темное, жестокое и злое, и буду я подобен тем богам, что Мысль моя творила и творит!

— Все в Человеке, — все для Человека!

Вот снова величавый и свободный, подняв высоко гордую главу, он медленно, но твердыми шагами идет по праху старых предрассудков, один в седом тумане заблуждений, за ним — пыль прошлого тяжелой тучей, а впереди — стоит толпа загадок, бесстрастно ожидающих его.

Они бесчисленны, как звезды в бездне неба, и — Человеку нет конца пути!

Так шествует мятежный Человек — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше!

V

Максим Горький вызывает перед собою «величественный образ Человека», когда чувствует усталость духа. Этот Человек необъятен, как мир, и идет «вперед! и — выше!»

Человека этого Горький почему-то называет «трагически прекрасным». Как будто духовная красота человека невозможна без трагедии? Одним из высших выражений духовной красоты человека является, например, преподобный Серафим Саровский²⁰, но святой чудотворец в течение жития своего не носил в себе никаких начал трагизма. Прекрасная жизнь его текла, как тот чистый лесной родник, который, на благо людям, открыл он.

В глазах горьковского трагически прекрасного Человека светятся «лучи бесстрашной мощной Мысли».

До конца вопля Горького о Человеке осталось невыясненным, что — эта Мысль есть нечто, в человеке лежащее или из-

вне на него воздействующее, самостоятельная ли сила, вошедшая в человека, или же его собственное порождение? Последнее вернее, так как речь, произносимая Человеком, заключается словами: «Все в человеке, все — для Человека!»

Сбивчивость изложения взаимоотношения Человека с разными действующими на него началами, с Мыслью во главе, придают горьковской прозе в стихах особенную сумбуренность, довольно искусно маскирующую его проповедь всеотрицания. Сумбуренность эта делает проповедь цензурной. Быть может, это случилось и без воли автора, просто от обуявшего его самомнения, которое так и брызжет из каждой строки, из каждой буквы его наброска. Он не рассказывает, не суждения выражает, а вещает, как самозванный пророк.

Но что бы ни изображала из себя «Мысль», атрибуты ее довольно определены. Она есть величавая сила, «которая в моменты утомленья — творит Богов, в эпохи бодрости — их низвергает».

«Боги» написаны с прописной буквы, дабы не оставалось сомнения, что в их число вносятся не только лжебоги, языческие кумиры, но и Бог вообще. Бога нет, его заменяет Мысль. Бог — это нечто создаваемое Мыслью в моменты утомления, в дремоте, так сказать, в сонном бреду, — большая фантазия, никому и ни на что не нужная, быстро низвергаемая в эпоху бодрости.

Таков именно взгляд Горького на Бога. Далее он одевает Веру в «лохмотья старых истин, отравленные ядом предрассудков» и называет ее одним из врагов Мысли, Вера, по Горькому, неподвижна, в ней живет злая жажда безграничной власти, в ней — стремление поработить все чувства, у нее — спрятанные когти изуверства, тяжелые ее крылья — бессильны, пустые очи ее — слепы. Веры ищет только испуганное сердце.

Таким образом, Бог и Вера — это понятия вредные, порожденные человеком и им же в минуты бодрости отвергаемые. Не лучше приговор произносится о Любви и Надежде. Любовь определяется, как «голодная», Надежда, как «усталая». Они одеты в те же лохмотья, как и Вера. У Любви коварные и пошлые уловки, за нею грязный лик чувственности и ее желание — овладеть любимым, ее стремление — унижать и унижаться. Одухотворяющая сила — любовь низведена Горьким на степень простого полового влечения, проявления которого в представлении Горького могут быть только пошлыми и грязными.

Надежда осуждена еще жесточе и беспощаднее. Она пуглива и бессильна, ее родная сестра — нарядная, роскошная Ложь,

«готовая всегда и всех утешить и обмануть своим красивым словом». В мифе древних греков, когда любопытная первая женщина Пандора, жена титана Эпиметея, открыла сосуд, наполненный всяким горем и всякими бедствиями, со дна его восстала Надежда. В священном библейском сказании падшей первоначальной паре человеческой Господь дает, осуществленную впоследствии, надежду на Искупителя. Господь наш Иисус Христос пред вознесением Своим на небо обещает ученикам Своим сошествие (совершившееся через 10 дней) Духа Утешителя.

Во все времена Надежда, сестра и сопутница Веры и Любви, жила в людях, как постигших истину, так и не постигших еще ее, а г. Максим Горький внушает, что Надежда и утешение — синонимы Лжи.

Ни Бога, ни Веры, ни Любви, ни Надежды! И, освободившись от этого багажа, от этого балласта, гордый человек идет вперед и — выше. Вперед, быть может, но вернее не выше, а ниже — прямо к тому дьяволу-гордости, который обогатил заблудших людей тем, что Максим Горький называет «Мыслью».

Человек у Горького вопиет о своем призвании. «Я призван, чтобы осветить весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти гармонию между собой и миром, в себе самом гармонию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на этой исстрадавшейся земле, покрытой, как накожную болезнь, корой несчастий, скорби, горя, злобы, всю злую грязь с нее смести в могилу прошлого!» Призван — прекрасно, но кем? Сам себя призвать человек не может. Бога нет, а о дьяволе Горький не поминает. Вероятно, призван Мыслью, так как говорится, что «Человек создан Мыслью». Но кто же она, наконец, по Горькому, — творческое начало, что ли, или порождение человека, в котором все? Полная темная дебрь сверхъестественной чепухи, не мешающей, однако, таким выводам развопившегося человека. «Я создан Мыслью затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать все старое»... Значит, все насмарку. К «старому» добавлено — «все тесное, и грязное, все злое». Но не все же старое было непременно и тесным, и грязным, и злым? По мнению Максима Горького, это очевидно так: он не говорит — «устаревшее», которое, впрочем, и без посторонних хлопот само отпадает, он точно говорит — «старое», т. е. прежнее, т. е. все то, чем человечество жило и во имя чего жило. «Старая» религия, «старая» семья, «старое» общество, «старое» государство, «старая» царская власть, «старая» любовь к родине, «старая» преданность верных поданных, все это — «старое», и все это Мак-

сим Горький желает «опрокинуть, разрушить, растоптать». Он обещает и создание «нового» «на выкованных Мыслью незыблемых устоях свободы, красоты и уваженья к людям». Громко, но неубедительно. Мы все же не знаем, в чем свобода, красота и уважение к людям, по Максиму Горькому. Мы не можем признать свободной распущенную бахвальную наглость разнужданного босяка, вечно пьяного, вора при случае, тунеядца по принципу, разбойника в душе, кандидата на каторгу и виселицу. Мы не можем признать красотой грязь, смрад и мерзость Орловых, Коноваловых, Сатиных. Мы не видим уважения к людям, когда к нему идут через опрокидывание, разрушение и растоптание того, что людям дорого и чем они были живы века.

Горьковский Человек не слишком много поясняет нам, утверждая, что он «непримиримый враг позорной нищеты людских желаний», что для него «бесмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно весь уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом, и дарами духа!» Все это старые перепевы в защиту appetitов пролетария, желающего оценки его труда несоответственно стоимости работы, им сделанной.

Горьковский Человек проклинает «все предрассудки, преубеждения и привычки». Что он понимает под этими словами, ясно из последующего: «Для Мысли нет твердынь несокрушимых и нет святынь незыблемых ни на земле, ни в небе!» Она сама все создала и все имеет право разрушить. Значит: Мысль придумала Бога на небе и может Его по своему произволу отменить; Мысль воздвигла храмы, полные чудотворных святынь, и она имеет право храмы перестроить на ночлежки и кабаки для босяков, а иконы и святыни выкинуть на улицу, в грязь. Мысль создала Власть на земле и она может ее низвергнуть. По пословице: «годится — Богу молиться, не годится — горшки покрывать», как говорят суздальские богомазы; мысль сегодня создаст Бога, а завтра скажет, что Его нет. О Власти и говорить нечего. «Она, — говорит далее Человек Горького, — постыдна и скучна».

«Настанет день, — пророчествует Человек Горького, — и буду я подобен тем богам, что Мысль моя творила и творит!»

«Будешь, как боги». Ах, как это давно сказано, на заре мироздания, дьяволом-искусителем²¹. Горький повторяет это. Но тут невольно проскальзывает нотка глубочайшего комизма. Человек, звание которого звучит гордо, это, по Горькому, не кто иной, как босяк. Ныне босяк обращается в Бога. До этого

неизбежно было договориться. Это естественный конец проповеди Горького. Конец венчает дело.

Ну, и любуйтесь и поклоняйтесь, поклонники и почитатели Горького-Гомера, Горького-Шекспира! Вот он — ваш бог: босяк, рваный, грязный, пьяный, смердящий, высящийся на алтаре из навоза и битых бутылок, с рожею, покрытую синяками, со следами дурной болезни на лице и теле, напившийся или на чужие деньги, или на краденые, или на отнятые у любовницы, низменнейшей проститутки, заработанные ею ценою продажи своего больного, зараженного тела.

Да! Поклоняйтесь, почитатели! Вам говорили, что это — идеал, и вы верили; вам говорили, что это — человек, и вы повторяли: «Как это гордо звучит «человек»». Теперь вам говорят, что это — бог. Ну, и не пятьтесь назад и воскуряйте ливан и смирну в новых храмах нового живого бога. А сробеете или отвернетесь, не вынесете богохульства, — вас Горький осудит последним приговором, осудит сам «великий Максим!»

Полагаем, что далее уже идти некуда, далее от слова остается переходить к делу. Революционное воззвание, преступная прокламация налицо. Документ этот вышел в свет под заглавием «Человек». Он доступен всем и каждому. Вся первая книга «Сборника товарищества «Знание»» стоит один рубль. В ней можно найти и другие прозведения, споспешествующие целям Максима Горького.

Мы не преувеличиваем. За правоту суждения нашего говорят слова самого Горького.

Босяцкий катехизис разобран в этом исследовании. Поступательные шаги Горького отмечены. Читающий люд поставлен в известность относительно того, что он читает. Призыв «человека», т. е. босяка, к действию приведен здесь целиком.

Но какая же цель этих всех слов? К чему писалось и печаталось столько страниц? Ведь не с Шекспиром же, в самом деле, мы повстречались на поприще российской словесности, чтобы писать о нем главу за главою и подвергать разбору его творчество.

С точки зрения чисто критической, с точки зрения анализа чисто художественного, Максим Горький может подождать своего критика. Нет еще обстоятельных разборов Тургенева, Толстого, Достоевского, не говоря уже о меньших величинах, как, например, Григорович. За Горького приниматься рано. Это исследование не критическое, оно — обличительное.

Когда горит какое-либо здание, не время разбирать, из какого материала было оно сложено и правильны ли в нем были

архитектурные линии. Прежде пожар необходимо погасить, а затем уже на досуге можно заняться вопросами об архитектуре и строительных материалах.

Максим Горький именно зажег пожар. Талант ему не извинение. Чем больше был бы его талант, — тем больше был бы его ответ. Кому много дано, с того много и спрашивается.

Сам же по себе талант Горького, не принимая во внимание тем его произведений и их современного интереса, не выше таланта Е. П. Гребенки²², И. И. Панаева, ну, в крайнем случае, Д. В. Григоровича.

Максим Горький интересен и важен, как вредный противобщественный элемент.

Цель и смысл всего здесь сказанного: разоблачение и обвинение.

Смеем думать, что Горький достаточно разоблачен всем приведенным, а в чем же обвинение?

Я смело, как гражданин земли русской, как член русского общества, как верноподданный русского Царя, как православный христианин, обвиняю Алексея Максимовича Пешкова, печатающего свои сочинения под именем «Максима Горького», в том, что, злоупотребляя талантом писателя, ему от Бога данным, он в ряде сочинений, по заранее обдуманному плану, лично, или по поручению и подговору других лиц, последовательно развращал читателей.

В том, что отребье общества, горючий материал возможного общего бунта, он возвел в идеал и требует образования и признания особенного класса босяков.

В том, что, подрываясь под основы нравственности, религии, общественности и государственности, он каждую строкою своею шел против одного из этих начал.

В том, что в изящную российскую словесность он внес невиданные в ней картины человеческого падения и разврата, дойдя даже до мельчайшего в подробностях описания дома терпимости.

В том, что, не довольствуясь отдельными бытовыми очерками, достаточными сами по себе к проведению в жизнь пошлейших и гнуснейших учений тунеядства, презрения к чужой личности и к чужой собственности, он в таких вещах своих, как «Буревестник» и «Человек», под ложно-поэтической формой скрыл призыв к восстанию против существующего уклада жизни.

В том, что в умы восприимчивой молодежи он, под видом возбуждения лучших чувств молодости — жалости к бедным,

любви к свободе, влил отраву растления и бесплоднейшего противления всему сущему.

В том, наконец, что своими противообщественными, противогосударственными, безнравственными и богохульными сочинениями, он осквернил русское печатное слово и нанес ему неизгладимый урон.

В Максиме Горьком вижу я деятеля со стремлениями не лучшими, чем стремления беглого каторжника Емельки Пугачева. На лбу Максима Горького я читаю братоубийственную печать Каина, ибо ему любо возбуждать отбросы общества против общества, ему любо видеть, как одурманенные красными словами его, слепцы из членов этого общества сами лезут в босяцкую пасть, сами готовы вложить топор и лом в руки этого босяка.

Я сказал. Нравственным долгом своим считал я открыть глаза слепцам и показать им их кумира без прикрас, во всей его злодейской наготе.

Мое дело сказать обществу: пора низвергнуть эту грязь, именную сочинениями Горького, из общественной потребности.

Дело общества — согласиться или не согласиться со мною.

